Жан Бодрийар
В тени молчаливого большинства, или Конец социального



http://anthropology.ru/ru/texts/baudrill/silent.html
«В тени молчаливого большинства, или Конец социального»: Издательство Уральского университета; Екатеринбург; 2000
ISBN 5-7525-1130-5

Аннотация

Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург. 2000

Издание осуществлено в рамках программы Пушкин при поддержке *Министерства иностранных дел Франции* и *Посольства Франции в России.*

В тени молчаливого большинства…

Всё хаотическое скопление социального вращается вокруг этого пористого объекта, этой одновременно непроницаемой и прозрачной реальности, этого ничто — вокруг масс. Магический хрустальный шар статистики, они, наподобие материи и природных стихий, «пронизаны токами и течениями». Именно так, по меньшей мере, мы их себе представляем. Они могут быть «намагничены» — социальное окружает их, выступая в качестве статического электричества, но большую часть времени они образуют «массу» в прямом значении слова, иначе говоря, всё электричество социального и политического они поглощают и нейтрализуют безвозвратно. Они не являются ни хорошими проводниками политического, ни хорошими проводниками социального, ни хорошими проводниками смысла вообще. Всё их пронизывает, всё их намагничивает, но всё здесь и рассеивается, не оставляя никаких следов. И призыв к массам, в сущности, всегда остаётся без ответа. Они не излучают, а, напротив, поглощают всё излучение периферических созвездий Государства, Истории, Культуры, Смысла. Они суть инерция, могущество инерции, власть нейтрального.

Именно в этом смысле масса выступает характеристикой нашей современности — как явление в высшей степени имплозивное,[1] не осваиваемое никакой традиционной практикой и никакой традиционной теорией, а может быть, и вообще любой практикой и любой теорией.

Воображению массы представляются колеблющимися где-то между пассивностью и

---

[1] То есть не «взрывающееся», не распространяющееся вовне, а, наоборот, вбирающее, втягивающее в себя. [Здесь и далее примечания переводчика обозначены (*).]

необузданной спонтанностью, но всякий раз как энергия потенциальная, как запас социального и социальной активности: сегодня они — безмолвный объект, завтра, когда возьмут слово и перестанут быть «молчаливым большинством», — главное действующее лицо истории. Однако истории, достойной описания, — ни прошлого, ни будущего — массы как раз и не имеют. Они не имеют ни скрытых сил, которые бы высвобождались, ни устремлений, которые должны были бы реализовываться. Их сила является *актуальной* , она здесь вся целиком, и это сила их молчания. Сила поглощения и нейтрализации, отныне превосходящая все силы, на массы воздействующие. Специфическая сила инертного, принцип функционирования *[l’efficace]* которой чужд принципу функционирования всех схем производства, распространения и расширения, лежащих в основе нашего воображения, в том числе и воображения, намеренного эти схемы разрушить. Недопустимая и непостижимая фигура имплозии (возникает вопрос: применимо ли к имплозии слово «процесс»?), о которую спотыкаются все наши рассудочные системы и против которой они с упорством восстают, активизацией всех значений, вспышкой игры всех означающих маскируя главное — крушение смысла.

В вакууме социального перемещаются промежуточные объекты и кристаллические скопления, которые кружатся и сталкиваются друг с другом в рассудочном поле ясного и тёмного. Такова масса, соединённые пустотой индивидуальные частицы, обрывки социального и распространяемые средствами информации импульсы: непроницаемая туманность, возрастающая плотность которой поглощает все окрестные потоки энергии и световые пучки, чтобы рухнуть в конце концов под собственной тяжестью. Чёрная дыра, куда проваливается социальное.

Итак, полная противоположность тому, что обозначается как «социологическое». Социология в состоянии лишь описывать экспансию социального и её перипетии. Она существует лишь благодаря позитивному и безоговорочному допущению социального. Устранение, имплозия социального от неё ускользают. Предположение смерти социального есть также и предположение её собственной смерти.

Термином «масса» выражено не понятие. За этим без конца используемым в политической демагогии словом стоит рыхлое, вязкое, люмпенаналити-ческое представление. Верная себе социология будет пытаться преодолеть его ограниченность, используя «более тонкие» категории социо-профессионального и классового, понятие культурного статуса и т. д. Стратегия ошибочная: бродя вокруг этих рыхлых и некритических (как некогда «мана»[2]) представлений, можно пойти дальше, чем умная и критическая социология. Впрочем, задним числом оказывается, что и понятия класса, социальных отношений, власти, статуса, институции и само понятие социального, все эти слишком ясные, составляющие славу узаконенных наук понятия, тоже всегда были только смутными представлениями, на которых, однако, остановились с тайной целью оградить определённый код от анализа.

Стремление уточнить содержание термина «масса» поистине нелепо — это попытка придать смысл тому, что его не имеет. Говорят: «масса трудящихся». Но масса никогда не является ни массой трудящихся, ни массой какого-либо другого социального субъекта или объекта. «Крестьянские массы» старого времени массами как раз и не были: массу составляют лишь те, кто свободен от своих символических обязанностей, «отсетчен» *[“résiliés”]* [3] (пойман в бесконечные «сети») и кому предназначено быть уже только многоликим результатом *[terminal]* функционирования тех самых моделей, которым не

[2] *Мана* — сверхъестественная сила, согласно верованиям народов Меланезии и Полинезии присущая определённым людям, животным, вещам и духам.

[3] Слово *résilié* — аннулирован, расторгнут — Ж. Бодрийяр сближает с похожим по звучанию *resille* — сетка, сеть.

удаётся их интегрировать и которые в конце концов предъявляют их лишь в качестве статистических остатков. Масса не обладает ни атрибутом, ни предикатом, ни качеством, ни референцией. Именно в этом состоит её определённость, или радикальная неопределённость. Она не имеет социологической «реальности». У неё нет ничего общего с каким-либо *реальным* населением, какой-либо корпорацией, какой-либо особой социальной совокупностью. Любая попытка её квалификации является всего лишь усилием отдать её в руки социологии и оторвать от той неразличимости, которая не есть даже неразличимость равнозначности (бесконечная сумма равнозначных индивидов 1+1+1+1 — это её социологическое определение), но выступает неразличимостью *нейтрального* , то есть *ни того, ни другого* (*ne-uter* [4]).

Полярности одного и другого в массе больше нет. Именно этим создаются данная пустота и разрушительная мощь, которую масса испытывает на всех системах, живущих расхождением и различием полюсов (двух или — в системах более сложных — множества). Именно этим определяется то, что здесь невозможен обмен смыслами — они тут же рассеиваются, подобно тому как рассеиваются в пустоте атомы. Именно по этой причине в массе невозможно также и *отчуждение* — здесь больше не существуют ни один, ни *другой* .

Масса, лишённая слова, которая всегда распростёрта перед держателями слова, лишёнными истории. Восхитительный союз тех, кому нечего сказать, и масс, которые не говорят. Неподъёмное ничто всех дискурсов. Ни истерии, ни потенциального фашизма — уходящая в бездну симуляция всех потерянных систем референций. Чёрный ящик всей невостребованной референциальности, всех неизвлечённых смыслов, невозможной истории, ускользающих наборов представлений, — масса есть то, что остаётся, когда социальное забыто окончательно.

Что касается невозможности распространить здесь смысл, то лучший пример тому — пример Бога. Массы приняли во внимание только его образ, но никак не Идею. Они никогда не были затронуты ни Идеей Божественного, которая осталась предметом заботы клириков, ни проблемами греха и личного спасения. То, что их привлекло, это феерия мучеников и святых, феерии страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные театрализованные представления и церемониал, это имманентность ритуального вопреки трансцендентности Идеи. Они были язычниками — они, верные себе, ими и остались, никак не тревожимые мыслями о Высшей Инстанции и довольствуясь иконами, суевериями и дьяволом. Практика падения по сравнению с духовным возвышением в вере? Пожалуй, даже и так. Плоской ритуальностью и оскверняющей имитацией разрушать категорический императив морали и веры, величественный императив всегда отвергавшегося ими *смысла* — это в их манере. И дело не в том, что они не смогли выйти к высшему свету религии, — они его проигнорировали. Они не прочь умереть за веру, — за святое дело, за идола. Но трансцендентность, но связанные с ней напряжённое ожидание *[le suspens]* , отсроченность *[différence* [5]*]* , терпение, аскезу — то высокое, с чего начинается религия, они не признают. Царство Божие для масс всегда уже заранее существовало здесь, на земле — в языческой имманентности икон, в спектакле, который устроила из него Церковь. Невероятный отход от сути религиозного. Массы растворили религию в переживании чудес и представлений — это единственный их религиозный опыт.

Одна и та же участь постигла все великие схемы разума. Им довелось обрести себя и следовать своему историческому предназначению только на узких горных тропах социальности, удерживающей смысл (и прежде всего смысл социальный); но в массы они

---

[4] Ж. Бодрийяр отсылает к лат. *neuter* — ни тот, ни другой; никто из двух.

[5] Différence, на русский обычно переводимое как различие, происходит от differer, означающего не только *различаться* , но и *откладывать* , *медлить* . В своём différence Ж. Бодрийяр, по всей видимости, хотел бы удержать оба значения этого глагола. Проблема differer в данном ключе подробно обсуждается у Ж. Деррида. См.: *Деррида Ж* . Голос и феномен. СПб., 1999. С. 175–178.

внедрились, по существу, лишь в искажённом виде, ценой крайней деформации. Так обстояло дело и с Разумом историческим, и с Разумом политическим, и с Разумом культурным, и с Разумом революционным; так обстояло дело и с самим Разумом социального — самым для нас интересным, поскольку, казалось бы, уж он-то в массах укоренён и, более того, именно он и породил их в процессе своей эволюции. Являются ли массы «зеркалом социального»? Нет, они не отражают социальное. Но они и не отражаются в нём — зеркало социального разбивается от столкновения с ними.[6]

Этот образ всё-таки не точен, ибо снова наводит на мысль о полноте субстанции, глухом сопротивлении. Массы, однако, функционируют скорее как гигантская чёрная дыра, безжалостно отклоняющая, изгибающая и искривляющая все потоки энергии и световые излучения, которые с ней сближаются. Как имплозивная сфера ускоряющегося пространственного искривления, где все измерения вгибаются внутрь самих себя и свёртываются в ничто, оставляя позади себя такое место, где может происходить только поглощение.

Пучина, в которой исчезает смысл

Следовательно, исчезает информация.

Каким бы ни было её содержание: политическим, педагогическим, культурным, именно она обязана передавать смысл, удерживать массы *в поле смысла* . Бесконечные морализаторские призывы к информированию: гарантировать массам высокую степень осведомлённости, обеспечить им полноценную социализацию, повысить их культурный уровень и т. д. — диктуются исключительно логикой производства здравомыслия. В этих призывах, однако, нет никакого толка — рациональная коммуникация и массы несовместимы. Массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища. Убедить их в необходимости серьёзного подхода к содержанию или хотя бы к коду сообщения не удалось никакими усилиями. Массам вручают послания, а они интересуются лишь знаковостью. Массы — это те, кто ослеплён игрой символов и порабощён стереотипами, это те, кто воспримет всё, что угодно, лишь бы это оказалось зрелищным. Не приемлют массы лишь «диалектику» смысла. И утверждать, что относительно него кто-то вводит их в заблуждение, нет никаких оснований. Для производителей смысла такое во всех отношениях далёкое от истины предположение, конечно, удобно — предоставленные сами себе, массы якобы всё же стремятся к естественному свету разума. В действительности, однако, всё обстоит как раз наоборот: именно будучи «свободными», они и противопоставляют свой отказ от смысла и жажду зрелищ диктату здравомыслия. Этого принудительного просвечивания, этого *политического* давления они опасаются, как смерти. Они чувствуют, что за полной гегемонией смысла стоит террор схематизации, и, насколько могут, сопротивляются ему, переводя все артикулированные дискурсы в плоскость иррационального и безосновного, туда, где никакие знаки смыслом уже не обладают и где любой из них тратит свои силы на то, чтобы завораживать и околдовывать, — в плоскость зрелищного.

Ещё раз: дело не в том, будто они кем-то дезориентированы, — дело в их внутренней потребности, экспрессивной и позитивной контрстратегии, в работе по поглощению и уничтожению культуры, знания, власти, социального. Работе, идущей с незапамятных времён, но сегодня развернувшейся в полную силу. В контексте такого рода глубоко разрушительного поведения масс смысл неизбежно предстаёт как нечто совершенно противоположное тому, чем он казался ранее: отныне это не воплощение духовной силы наших обществ, под контролем которой рано или поздно оказывается даже и то, что пока от

---

[6] Используя сочетание *зеркало социального* (*miroir du social*), Ж. Бодрийяр сначала употребляет его в значении *зеркало, отражающее социальное* (объективный генитив слова социальное), а затем в смысле *социальное, играющее роль зеркала* (генитив субъективный). Ср. с хайдеггеровским *захваченность бытия* (*Хайдеггер М.* Письмо о гуманизме // *Хайдеггер М.* Время и бытие. М., 1993. С. 193).

неё ускользает, — теперь это, наоборот, только неясно очерченное и мимолётное явление, эффект, своим возникновением обязанный уникальной пространственной перспективе, сложившейся в данный момент времени (История, Власть и т. д.); и он, этот по-новому представший смысл, всегда затрагивает, по существу, только самую малую часть наших «обществ», да и то лишь внешним образом. Сказанное верно также и для уровня индивидов: проводниками смысла нам дано быть не иначе как от случая к случаю — в сущности же мы *образуем* самую настоящую *массу*, большую часть времени находящуюся в состоянии неконтролируемого страха или смутной тревоги, по эту или по ту сторону здравомыслия.

Но этот новый взгляд на массы требует, чтобы мы пересмотрели всё, что о них до сих пор говорилось.

Возьмём один из множества примеров пренебрежения смыслом, красноречиво характеризующий молчаливую пассивность.

В ночь экстрадиции Клауса Круассана[7] телевидение транслирует матч сборной Франции в отборочных соревнованиях чемпионата мира по футболу. Несколько сотен человек участвуют в демонстрации перед тюрьмой Санте, несколько адвокатов заняты разъездами по ночному городу, двадцать миллионов граждан проводят свой вечер перед экраном телевизора. Победа Франции вызывает всеобщее ликование. Просвещённые умы ошеломлены и возмущены столь вызывающим безразличием. *Монд* пишет: «21 час. В это время немецкий адвокат был уже вывезен из Санте. Через несколько минут Рошто забьёт первый гол». Мелодрама негодования.[8] И никакого серьёзного анализа того, в чём же состоит тайна этой индифферентности. Постоянная ссылка на одно и то же: власть манипулирует массами, массы одурманены футболом. Получается, что это безразличие *не обязательно*, для характеристики масс самих по себе оно ничего не значит. У «молчаливого большинства», иными словами, нет даже его индифферентности, и уличать и обвинять его в ней можно лишь после того, как власть всё же склонит его к апатии.

Но сколько, однако, презрения в этом взгляде на массы! Считается, что, будучи дезориентированными, собственной линии поведения они иметь не могут. Правда, время от времени они якобы всё же погружаются в родную для себя революционную стихию, благодаря чему «разумность их собственной воли» ими так или иначе осознаётся. Но в остальных случаях, как полагают, надо молить Господа, чтобы он хранил нас от их молчания и их инертности. А ведь именно это безразличие и необходимо было бы по-настоящему проанализировать. Вместо того, чтобы рассматривать его как следствие, результат действия своего рода белой магии, постоянно отвращающей, отводящей толпы от их природной революционности, нужно было бы взять его как нечто самостоятельное, в его собственной *позитивной* силе.

И почему, собственно говоря, это отвлечение масс от революционности удаётся? Не стоит ли задуматься над тем странным обстоятельством, что после многочисленных революций и сто— или даже двухсотлетнего обучения масс политике, несмотря на активность газет, профсоюзов, партий, интеллигенции — всех сил, призванных воспитывать и мобилизовывать население, всё ещё (а точно такой же ситуация будет и через десять, и через двадцать лет) только лишь тысяча человек готова к действию, тогда как двадцать

---

[7] Клаус Круассан — адвокат, выступавший в качестве защитника на процессах террористов из немецкой организации *Ячейки Красной Армии* (РАФ), несколько раз подвергался арестам за активную поддержку РАФ.

[8] В этом своём негодовании в отношении молчаливого большинства крайне левые демонстрируют и свою досаду, и свою «утончённую» развязность. Шарли-Эбдо, к примеру, заявляет: «Молчаливое большинство плюёт на всё — ему лишь бы только залезть вечером в свои домашние тапочки… И пусть тебя не вводит в заблуждение то, что оно не открывает рта, — в конечном счёте это оно, молчаливое большинство, устанавливает законы. Оно правильно живёт: как следует жрёт, работает столько, сколько надо. От своих руководителей оно требует надлежащей отеческой заботы и соответствующих гарантий безопасности, а также удовлетворения потребности в небольшой, а потому и неопасной, дозе каждодневных иллюзий».

миллионов остаются пассивными — и не только пассивными, но и открыто, совершенно откровенно и с лёгким сердцем, без всяких колебаний ставящими футбольный матч выше человеческой и политической драмы? Любопытно, что этот и подобные факты никогда не настораживали аналитиков — эти факты, наоборот, воспринимаются ими как подтверждение устоявшегося мнения, будто власть всемогуща в манипулировании массами, а массы под её воздействием, со своей стороны, находятся в состоянии какой-то невообразимой комы. Однако в действительности ни того ни другого нет, и то и другое лишь видимость: власть ничем не манипулирует, массы не сбиты с толку и не введены в заблуждение. Власть слишком уж торопится некоторую долю вины за чудовищную обработку масс возложить на футбол, а большую часть ответственности за это дьявольское дело взять на себя. Она ни в коем случае не хочет расставаться с иллюзией своей силы и замечать обстоятельство куда более опасное, чем негативные последствия её, как ей кажется, тотального влияния на население: безразличие масс относится к их сущности, это их единственная практика, и говорить о какой-либо другой, подлинной, а значит и оплакивать то, что массами якобы утрачено, бессмысленно. Коллективная изворотливость в нежелании разделять те высокие идеалы, к воплощению которых их призывают, — это лежит на поверхности, и, тем не менее, именно это и только это делает массы массами.

Массы ориентированы не на высшие цели. Разумнее всего признать данный факт и согласиться с тем, что любая революционная надежда, любое упование на социальное и на социальные изменения так и остаются надеждой и упованием исключительно по одной причине: массы уходят, самыми непостижимыми способами уклоняются от идеалов. Разумнее всего — вслед за Фрейдом, осуществившим подобную процедуру при исследовании строя психического,[9] — именно этот осадок, это мутное отложение, этот не анализировавшийся и, возможно, вообще не поддающийся анализу слой разлагающихся остатков смысла и рассматривать в качестве ничем не обусловленной данности, из которой необходимо исходить. (Вполне понятно, почему такого рода решительно меняющий точку отсчёта коперниканский переворот[10] до сих пор не произошёл в исследованиях мира политического — для воззрений на политическое он чреват самыми глобальными потрясениями.)

---

[9] Эта аналогия с Фрейдом весьма ограничена, поскольку результатом его радикального шага оказывается гипотеза вытеснения и бессознательного, которая всё же не исключает — чем с тех пор широко пользуются — возможности участия и того и другого в смыслопроизводстве, возможности восстановления места желания и бессознательного в партитуре *[partition]* смысла, партитуре, предполагающей чарующую симфонию, когда неустранимая реверсия смысла благодаря вытеснению становится хорошо темперированным развёртыванием желания, в свою очередь стремящегося к высвобождению. Ясно, почему политическая революция с такой лёгкостью обернулась «высвобождением желания» — она призвана как раз не увеличивать, а восполнять слабость смысла. Речь, однако, идёт вовсе не о том, чтобы интерпретировать массы в терминах либидинальной экономики (конформизм или «фашизм» масс в этом случае связывают с некой латентной структурой, с тёмным желанием власти и репрессии, которое якобы время от времени подпитывается первичным вытеснением или влечением к смерти). Сегодня либидинальная экономика является единственной альтернативой теряющему силу марксистскому анализу. Но по сути дела она представляет собой тот же самый анализ, только получивший новое направление. Раньше полагали, что массы предназначены для революции, но осуществлению этого предназначения препятствует ограничение их сексуальности (Райх); теперь им приписывают желание подавления и порабощения, или нечто вроде повседневного микрофашизма, рассуждения о котором столь же малоубедительны, как и разговоры о якобы присущем им влечении к свободе. Тяги к фашизму и власти здесь, однако, ничуть не больше, чем революционности. Мы сталкиваемся с последней попыткой привязать массы к смыслопроизводству: если они обладают бессознательным или желанием, то, следовательно, всё-таки могут выступать носителями и проводниками смысла. Это повсеместное переоткрытие желания — всего лишь знак политического отчаяния. Стратегия желания, после того как она долгое время была стержнем маркетинга предприятия, обрела сегодня благородную форму стратегии активизации революционной энергии масс.

[10] То есть ставящий во главу угла не смысл, а, наоборот, бессмыслие.

Возвышение и падение политики

По крайней мере со времени Великой французской революции политика и социальное предстают как нечто нераздельное, как созвездия близнецы, так или иначе находящиеся в поле притяжения экономики. Эта их тесная связь обнаруживается и в наше время, однако весьма своеобразно — в одновременности их заката.

Сначала, в эпоху Возрождения, когда она возникает, когда внезапно выходит из сферы религиозного и церковного, чтобы заявить о себе как таковой голосом Макиавелли, политика есть лишь чистая игра знаков, чистая стратегия, не обременяющая себя никакой социальной или исторической «истиной», но, напротив, играющая на её отсутствии (точно так же позднее светская стратегия иезуитов будет играть на отсутствии Бога). Политическое пространство в начале своего существования — явление того же порядка, что и пространство ренессансного механического театра или изобретённой в это же время в живописи перспективы. Форма является формой игры, а не системой представления, семиургией и стратегией,[11] а не идеологией — она предполагает виртуозность, но никак не истину (такая игра, цепь ухищрений и их результат, изображена Бальтасаром Грасианом[12] в его *Придворном*). Цинизм и имморализм макиавеллиевской политики связаны не с неразборчивостью в выборе средств, на чём настаивает крайне грубая её интерпретация: их надо искать в свободном обращении с целями. Цинизм и имморализм, и это хорошо понимал Ницше, заключены именно здесь — в этом пренебрежении социальной, психологической и исторической истиной, в этом вобравшем в себя максимум политической энергии движении чистых симулякров,[13] условием которого является то, что политика есть всего лишь игра и ещё не отдала себя во власть разуму.

Но начиная с XVIII века, и особенно с Революции,[14] направленность политического решительно меняется. Оно берёт на себя функцию выражения социального, социальное становится его содержанием. Политическое теперь — это представление, над игрой властвуют механизмы репрезентации (аналогичным образом эволюционируют и театр — он оказывается театром представления, и пространство перспективы — из пространства машинерии *[machinerie]* , каким оно было первоначально, оно превращается в место фиксации истины пространства и истины репрезентации). Политическая сцена отныне отсылает к фундаментальному означаемому: народу, воле населения и т. д. На этот раз на неё выходят уже не чистые знаки, но смыслы: от политического действия требуется, чтобы оно как можно лучше изображало стоящую за ней реальность, чтобы оно было прозрачным, чтобы оно было нравственным и соответствовало социальному идеалу правильной репрезентации. И тем не менее равновесие между собственной сферой политического и силами, в ней отражающимися: социальным, историческим, экономическим — будет сохраняться довольно долго. Так во всяком случае обстоит дело на протяжении золотого века буржуазных представительных систем (то есть в эпоху конституционности: Англия XVIII века. Соединённые Штаты Америки, Франция периода буржуазных революций, Европа 1848 года).

Конец политики, её собственной энергии наступает с возникновением и распространением марксизма. Начинается эра полной гегемонии социального и экономического, и политическому остаётся быть лишь зеркалом — отражением социального

---

[11] То есть работой знаков.

[12] Грасиан Бальтасар (1601–1658) — испанский писатель, иезуит.

[13] От фр. *simulacre* — подобие, видимость, иллюзия.

[14] Имеется в виду Великая французская революция 1789–1794 годов.

в областях законодательства, институциональности и исполнительной власти. Насколько возрастает господство социального, настолько теряет в самостоятельности политическое.

Если для либеральной мысли характерна своего рода ностальгия по диалектическому равновесию между этими двумя сферами, то мысль социалистическая, революционная решительно настаивает на том, что придёт время, когда политическое исчезнет, растворится в полностью прозрачном социальном.

Социальное овладело политическим. Но теперь, став всеобщим и всепоглощающим, низведя политическое до нулевой степени его существования, превратившись в абсолютное исходное основание, будучи вездесущим, то есть проникая во все щели физического и ментального пространства, — сохраняется ли оно ещё как таковое? Нет, эта новая его форма свидетельствует о его конце: его энергия обращена против самой себя, его специфика исчезает, его исторической и логической определённости больше не существует. Утверждается нечто, в чём рассеивается не только политическое — его участь постигает и само социальное. У социального больше нет имени. Вперёд выступает анонимность. *Масса* . *Массы* .

Молчаливое большинство

Политическое как таковое, политическое чисто стратегической направленности угасает сначала в системе репрезентации, а окончательно — в рамках современной неофигуративности. Последняя предполагает всё ту же самовозрастающую знаковость, но знаки теперь уже не обозначают: в «действительности», реальной социальной субстанции, им больше ничто не «соответствует». Что может выражаться в политическом, чем может обеспечиваться эффективная работа его знаков, если социального референта сегодня нет даже у таких классических категорий, как «народ», «класс», «пролетариат», «объективные условия»? Исчезает социальное означаемое — рассеивается и зависимое от него политическое означающее.

Единственный оставшийся референт — референт «молчаливого большинства» . Этим тёмным бытием, этой текучей субстанцией, которая наличествует не социально, а статистически и обнаружить которую удаётся лишь приёмами зондажа, обусловлены все функционирующие сегодня системы. Сфера её проявления есть сфера симуляции в пространстве социального, или, точнее, в пространстве, где социальное уже отсутствует.

Но молчаливое большинство (каковым являются массы) — референт мнимый. Это не значит, что оно не существует. Это значит, что *оно не может иметь какой — либо репрезентации* . Массы не являются референтом, поскольку уже не принадлежат порядку представления. Они не выражают себя — их зондируют. Они не рефлектируют — их подвергают тестированию. Политический референт уступил место референдуму (организатор постоянного, никогда не прекращающегося референдума — средства массовой информации). Однако зондирования, тесты, референдум, средства массовой информации выступают в качестве механизмов, которые действуют уже в плане симуляции, а не репрезентации. И ориентированы они уже на модель, а не на референт. С механизмами классической социальности (в состав которых по-прежнему входят выборы, институции, инстанции репрезентации, а также подавления) дело обстоит совершенно иначе: здесь всё ещё в силе диалектическая структура, поддерживающая ставки политики и различные противоречия, здесь всё ещё в силе социальный смысл, который перемещается от полюса к полюсу.

У механизма симуляции эта структура отсутствует. В паре зондаж/молчаливое большинство, к примеру, нет ни противоположных, ни вообще выделенных элементов *[termes différentiels]* ;нет, следовательно, и потока социального: его исчезновение — результат смешения полюсов в движении тотальной сигнальности (точно так же обстоит дело и на уровне ДНК и генетического кода — с молекулярной командой и субстанцией, в отношении которой она подаётся). Именно таким образом — по схеме сокрушения полюсов

и круговращения моделей — и развёртывается симуляция (это матрица любого имплозивного процесса).

Бомбардируемые рассчитанными на ответную реакцию сигналами, забрасываемые посланиями, атакуемые тестовыми испытаниями, массы оказываются теперь лишь непрозрачным, непроницаемым образованием, подобным тем скоплениям звёздного газа, которые изучаются только методом анализа их светового спектра — данные статистики и результаты зондажа играют здесь ту же роль, что и спектр излучений. И речь теперь идёт не о выражении или представлении, а исключительно о симуляции больше уже не выражаемого и в принципе невыразимого социального. Такова природа молчания масс. Но оно, следовательно, парадоксально — это не молчание, которое не говорит, это молчание, которое *накладывает запрет на то, чтобы о нём говорили от его имени* . Оно, стало быть, является отнюдь не формой отстранённости, а совершеннейшим по своему характеру оружием.

У молчаливого большинства не бывает представителей — репрезентация расплачивается за своё прошлое господство. Массы уже не инстанция, на которую можно было бы ссылаться, как когда-то на класс или народ. Погружённые в своё молчание, они больше не *субъект* (прежде всего не субъект истории) и, следовательно, не могут войти в сферу артикулированной речи, в сферу представления, не могут проходить «стадию (политического) зеркала» и цикл воображаемых идентификаций[15]). Отсюда их главная особенность: не будучи субъектом, *они уже не могут оказаться отстранёнными* [*aliénées*] *от самих себя* — ни в языке собственном (у них его нет), ни в любом другом, который претендовал бы на то, чтобы им стать.[16] Но тогда революционные ожидания напрасны. Ибо они всегда основывались на вере в способность масс, как и класса пролетариев, отрицать себя как таковых. Однако масса — это поле поглощения и имплозии, а не негативности и взрыва.

Масса избегает схем освобождения, революции и историчности — так она защищается, принимает меры против своего Я. Она функционирует по принципу симуляции и мнимого референта, предполагающему политический класс-фантом и исключающему какую-либо «власть» массы над самой собой — масса есть в то же время и смерть, конец политического процесса, которому она могла бы оказаться подконтрольной. Она губит и политическую волю, и политическую репрезентацию.

Долгое время казалось, что апатия масс должна приветствоваться властью. У власти сложилось убеждение, что чем пассивнее массы, тем эффективнее можно ими управлять. Исходя из него она и действовала в период, когда властные механизмы были централизованы и бюрократизированы. Однако сегодня последствия этой стратегии оборачиваются против самой власти: безразличие масс, которое она активно поддерживала, предвещает её крах. Отсюда радикальная трансформация её стратегических установок: вместо поощрения пассивности — подталкивание к участию в управлении, вместо одобрения молчания — призывы высказываться. Но время уже ушло. «Масса» стала «критической», эволюция социального сменилась его инволюцией[17] в поле инертности.[18]

---

[15] Стадия зеркала — термин французского философа и психолога Ж. Лакана (1901–1981). В этот период (с 6 до 18 месяцев) ребёнок начинает отождествлять себя со своим отражением. У него формируется то, что Лакан назвал *воображаемым* , иначе говоря, образ собственного Я.

[16] Бодрийяровский *субъект* отсылает, по крайней мере, к двум значениям слова *sujet* : это и *действующие люди* , и *тема* , *предмет дискурса* .

[17] От лат. *involutio* — свёртывание.

[18] Понятие критической массы обычно используют при описании ядерного *взрыва* [*explosion*]. Здесь оно взято для характеристики ядерной *имплозии* , то есть того, с чем мы сталкиваемся в области социального и политического в условиях *инволюции* масс и молчаливого большинства. Это своего рода взрыв наоборот,

От масс постоянно требуют, чтобы они подали свой голос, им навязывают социальность избирательных кампаний, профсоюзных акций, сексуальных отношений, контроля за руководством, празднований, свободного выражения мнений и т. д. Призрак *[spectre]* должен заговорить, и он должен назвать своё имя. Молчание масс, безмолвие молчаливого большинства — вот единственная подлинная проблема современности.

На то, чтобы удержать эту массу в состоянии управляемой эмульсии и защититься от инерции её неконтролируемой тревожности, тратится огромная энергия. Воля и репрезентация над массой уже не властвуют, но она сталкивается с напором диагностики, чистой проницательности. Она попадает в безграничное царство информации и статистики: нужно уловить её самочувствие, выяснить позицию, побудить высказать какое-то пророчество. С ней активно заигрывают, её окружают заботой, на неё воздействуют. И она откликается: «Французский народ полагает… Большая часть немцев осуждает… Вся Англия испытывает неописуемую радость по поводу рождения принца…» и т. д. Её предсказания кажутся следствиями её дара предвосхищения и её всезнания, но в них абсолютно ничто не отражается.

Отсюда эта бомбардировка массы знаками, на которую ей полагается отвечать подобно эху. Её исследуют методом сходящихся волн, используя световые и лингвистические сигналы — совсем как удалённые звёзды или ядра, которые бомбардируют частицами в циклотроне. На сцену выходит информация. Но не в плане коммуникации, не в плане передачи смысла, а как способ поддержания эмульсионности, реализации обратной связи и контролируемых цепных реакций — точно в таком же качестве она выступает в камерах атомной симуляции. Высвобождаемая «энергия» массы должна быть направлена на построение «социального».

Однако результат получается обратным. Развёртывание информационности и средств защиты, в каких бы формах оно ни происходило, ведёт к тому, что социальное не упрочивается, а, наоборот, теряет свою определённость, гибнет.

Принято считать, что, вводя в массы информацию, их структурируют, что с помощью информации и посланий высвобождается заключённая в них социальная энергия(сегодня уровень социализации измеряется не столько степенью развитости институциональных связей, сколько количеством циркулирующей информации и тем, какой её процент распространяется телевидением, радио, газетами и т. д.). На самом же деле всё складывается прямо противоположным образом. Вместо того чтобы трансформировать массу в энергию, информация осуществляет дальнейшее производство массы. Вместо того чтобы информировать, то есть, в соответствии с её предназначением, придавать форму и структуру, она ещё больше ослабляет — «поле социальности» под её воздействием неуклонно сокращается. Всё увеличивающаяся в своих размерах создаваемая ею инертная масса совершенно неподконтрольна классическим социальным институциям и невосприимчива к содержанию самой информации. Ранее властвовало социальное — и его рациональная сила разрушала символические структуры, сегодня на первый план выходят mass media и информация — и их «иррациональным» неистовством разрушается уже социальное. Ибо благодаря им мы имеем дело именно с ней — этой состоящей из атомов, ядер и молекул массой. Таков итог двух веков усиленной социализации, знаменующий её полный провал.

Масса является массой только потому, что её социальная энергия уже угасла. Это зона холода, способная поглотить и нейтрализовать любую действительную активность. Она похожа на те практически бесполезные устройства, которые потребляют больше, чем производят, на те уже истощённые месторождения, которые продолжают эксплуатировать, неся большие убытки.

Энергия, затрачиваемая на ликвидацию отрицательных последствий постоянного снижения отдачи от политических мероприятий, на предотвращение окончательного распада социальной организации реальности, на то, чтобы поддержать симуляцию социального и

свойственный инертности — она тоже имеет свою критическую точку.

помешать его полному поглощению массой, — эта энергия огромна, и её потеря низвергает систему в пропасть.

Со смыслом дело обстоит, в сущности, так же, как с товаром. Долгое время капитал заботился только о производстве — с потреблением затруднений не возникало. Сегодня надо думать и о потреблении, а значит, производить не только товары, но и потребителей, производить сам спрос. И это второе производство неизмеримо дороже первого (социальное родилось главным образом из этого кризиса спроса, особенно заметного начиная с 1929 года: производство спроса и производство социального — это в значительной мере одно и то же).[19]

Но точно так же и власть в течение долгого времени довольствовалась лишь тем, что производила смысл (политический, идеологический, культурный, сексуальный); спрос же развивался сам — он вбирал в себя предложение и тут же ожидал нового. Смысла недоставало, и всем революционерам приходилось приносить себя в жертву наращиванию его производства. Сейчас дело обстоит иначе: смысл повсюду, его производят всё больше и больше, и недостаёт уже не предложения, а как раз спроса. *Производство спроса на смысл* — вот главная проблема системы. Без этого спроса, без этой восприимчивости, без этой минимальной причастности смыслу власть оказывается не более чем простым симулякром, всего лишь эффектом пространственной перспективы. Однако и в данном случае второе производство — производство спроса на смысл — гораздо дороже, чем производство первое — то есть производство самого смысла. И в конце концов производство спроса на смысл станет неосуществимым — энергии системы на него больше не хватит. Спрос на предметы и услуги, пусть и дорогой ценой, всегда может быть создан искусственно: у системы есть соответствующий опыт. Но потребность в смысле, но желание реальности, однажды исчезнув, восстановлению уже не поддаются. Для системы это катастрофа.

Масса впитывает всю социальную энергию, и та перестаёт быть социальной энергией. Масса вбирает в себя все знаки и смысл, и те уже не являются знаками и смыслом. Она поглощает все обращённые к ней призывы, и от них ничего не остаётся.[20] На все поставленные перед ней вопросы она отвечает совершенно одинаково. Она никогда ни в чём не участвует. Её подвергают разного рода воздействиям и тестовым испытаниям, но она *представляет собой* именно *массу*, и потому с полным безразличием пропускает сквозь себя и воздействия (причём все воздействия), и информацию (причём всю информацию), и нормативные требования (причём все нормативные требования).[21] Она навязывает

---

[19] Сегодня социальное уже не производится — его производство имеет место при социализме и даже в рамках самого капитализма, но не в условиях, когда производство спроса идёт впереди производства товаров. Движение от производства к потреблению получило обратное направление, и то, с чем мы сталкиваемся, уже нельзя назвать ни логикой производства, ни логикой потребления — это порядок симуляции того и другого. Сегодня невозможно говорить и о «реальном» кризисе капитала, кризисе, из которого, как полагает Аттали, надо выходить под лозунгом «больше социального и социализма». Перед нами совершенно иное, гиперреальное, образование, порывающее и с капиталом, и с социальным.

[20] Точно так же устроены и чёрные дыры. Они представляют собой настоящие космические гробницы: их гравитационное поле столь чудовищно, что в такую ловушку попадает и в ней умирает даже свет. Это, следовательно, зоны, откуда не может поступить *никакой информации*. Их открытие и их исследование означают радикальное изменение всей науки, появление принципиально новой по характеру познавательной деятельности. Ранее познание всегда основывалось на информации, сообщении, позитивном сигнале, которые обладают «смыслом» и передаются посредством разного рода волн. Но случай с чёрными дырами — это случай, когда *информация*, по сути дела, *отсутствует*. Они не посылают никаких сообщений и, в свою очередь, не отвечают ни на какие сигналы. Изучение масс придаёт этой трансформации науки дополнительный импульс.

[21] Здесь масса, как она характеризуется Ж. Бодрийяром, демонстрирует свою двойственность. С одной стороны, она обладает поглощающей и уничтожающей силой, и в этом её сходство с чёрными дырами. С другой — она абсолютно проницаема для любого воздействия, и в этом отношении масса и чёрные дыры являются противоположностями.

социальному абсолютную прозрачность, оставляя шансы на существование лишь эффектам социального и власти, этим созвездиям, вращающимся вокруг уже отсутствующего ядра.

Молчание массы подобно молчанию животных, более того, оно ничем не отличается от последнего. Бесполезно подвергать массу интенсивному допросу (а непрерывное воздействие, которое на неё обрушивается, натиск информации, который она вынуждена выдерживать, равносильны испытаниям, выпадающим на долю подопытных животных в лабораториях) — она не скажет ни того, где для неё — на стороне левых или на стороне правых — истина, ни того, на что она — на освободительную революцию или на подавление — ориентирована. Масса обходится без истины и без мотива. Для неё это совершенно пустые слова. Она вообще не нуждается ни в сознании, ни в бессознательном.

Такое молчание невыносимо. Оно является неизвестным политического уравнения, аннулирующим любые политические уравнения. Все стремятся в нём разобраться, однако обращаются с ним не как с молчанием — им всегда необходимо, чтобы оно заговорило. Но зондированию сила инерции масс неподвластна: она не поддаётся ему потому, что как раз благодаря ей массы нейтрализуют любое зондирующее исследование. Это молчание переводит политическое и социальное в сферу гиперреальности, где они сейчас и находятся. Ибо если политическое пытается ограничить массы пространством, где царствуют эхо и социальная симуляция (используя информацию и средства информирования), то массы, со своей стороны, и оказываются таким пространством эха и невиданной симуляции социального. Здесь никогда не было никакой манипуляции. В игре участвовали обе стороны, они находились в равных условиях, и никто сегодня, видимо, не может с уверенностью сказать, какая же из них одержала верх: симуляция, с которой обрушилась на массы власть, или ответная симуляция, обращённая массами в направлении распадающейся под её влиянием власти.

Ни субъект, ни объект

Масса парадоксальна — она выступает одновременно и объектом симуляции (поскольку существует только в пункте схождения всех волн информационного воздействия, которые её описывают), и её субъектом, способным на гиперсимуляцию: все модели она видоизменяет и снова приводит в движение (это её гиперконформизм, характерная форма её юмора).

Масса парадоксальна — она не является ни субъектом (субъектом-группой), ни объектом. Когда её пытаются превратить в субъект, обнаруживают, что она не в состоянии быть носителем автономного сознания. Когда же, наоборот, её стремятся сделать объектом, то есть рассматривают в качестве подлежащего обработке материала, и ставят целью проанализировать объективные законы, которым она якобы подчиняется, становится ясно, что ни обработке, ни пониманию в терминах элементов, отношений, структур и совокупностей она не поддаётся. Любое воздействие на массу, попадая в поле её тяготения, начинает двигаться по кругу: оно проходит стадии поглощения, отклонения и нового поглощения. Чем такое воздействие завершится, с абсолютной точностью предсказать невозможно, но вероятнее всего, что непрерывное круговое движение отнимет у него все силы и оно угаснет, полностью перечеркнув планы тех, кто его предпринял. Эта диффузная, децентрированная, броуновская, состоящая из молекулярных образований реальность неподвластна никакому анализу: понятие объекта к ней неприложимо точно так же, как оно неприложимо и к предельному уровню материи, «анализируемому» в микрофизике. Область «материи» элементарных частиц — это место, где нет ни объекта, ни субъекта, субъекта наблюдения. Ни объект познания, ни субъект познания здесь больше не существуют.

Масса олицетворяет такое же — пограничное и парадоксальное — состояние социального. Она уже не объективируема (на языке политики это значит, что она не может

иметь представительства) и останавливает любую активность, которая оказывается активностью стремящегося к её постижению субъекта (в политическом плане это значит, что она предотвращает любые попытки выступать от её имени). Выражать её способны лишь зондаж и статистика (работающие в том же режиме, что и математическая физика, опирающаяся на закон больших чисел и теорию вероятности), но очевидно, что практика заклинаний и магических ритуалов, взятая ими на вооружение, — это практика без действительного объекта, и в отношении масс она оправдывает себя только потому, что массы таким объектом как раз и не являются. Заклинания и ритуалы имеют дело не с объектом, который может быть представлен, а с объектом, от представления ускользающим, ориентированным на исчезновение. Ими он поэтому не схватывается, а всего лишь симулируется. Ими он «производится»: они предрешают то, как он отреагирует на воздействия, предопределяют характер поступающих от него сигналов. Но эта реакция и эти сигналы выступают, очевидно, и его собственными реакцией и сигналами, свидетельствуют и о его собственной воле. Содержание, выражаемое неустойчивыми, существующими очень короткое время, предназначенными для реализации некоторого воздействия знаками — а знаки зондажа являются именно таковыми, — допускает различные и вместе с тем одинаково возможные толкования. Всем известно, сколь фундаментальна неопределённость, имеющая место в мире статистики (теория вероятности и теоремы закона больших чисел также исходят из неопределённости и также вряд ли могут основываться на представлении о материи, которой свойственны те или иные «объективные законы»).

Утверждение, что методы научного эксперимента, используемые в так называемых точных науках, гарантируют знанию гораздо более высокую степень истинности, чем приёмы зондажа и статистических исследований,[22] весьма сомнительно. Если «объективное» познание, в какой бы конкретно науке оно ни осуществлялось, подчиняется системе установленных правил, регулируется, то и оно связано с истиной, являющейся только циркуляром, то есть движущимся по кругу сигналом,[23] и не предполагающей никакого объекта. У нас, во всяком случае, достаточно оснований полагать, что мир всё же не объективируем и что даже неодушевлённая материя, с которой различные науки о природе обходятся так же (один и тот же подход, одни и те же процедуры), как статистика и зондирующее исследование обходятся с массами и одушевлённым «социальным», — даже неодушевлённая материя реагирует на воздействие сигналами, оказывающимися всего лишь отражёнными сигналами воздействия, и выдаёт ответы, уже заранее содержащиеся в обращённых к ней вопросах. Она тоже, как и массы, демонстрирует тот постоянно раздражающий конформизм, который в конце концов и позволяет ей, как он позволяет это и массам, благополучно избежать участи стать объектом.

«Материи», да и, по всей видимости, любому «объекту» науки вообще, свойственна та же удивительная ироничность, что характеризует и массы, когда они молчат или когда, воспользовавшись языком статистики, отвечают на вопросы именно так, как от них и требуется. Эта ироничность сближается с бесконечной иронией женственности, о которой говорит Гегель, — иронией притворной преданности и чрезмерной законопослушности. Она симулирует пассивность и покорность столь тщательно, что от последних, как в случае с бессмертным солдатом Швейком, по сути дела уже ничего не остаётся.

Именно её, судя по всему, и имеет в виду *патафизика* , или наука о воображаемых решениях,[24] наука о симуляции и гиперсимуляции вполне определённого, подлинного,

---

[22] Поскольку методы научного эксперимента якобы делают знание гораздо более адекватным объекту.

[23] Словом *circulaire* Ж. Бодрийяр подчёркивает сразу и момент *кругообразности* , и момент *директивности* .

[24] Наука, о которой идёт речь в книге французского писателя, одного из предшественников сюрреализма А. Жарри (1873–1907) «Деяния и мнения доктора Фаустролля».

объективного, подчиняющегося универсальным законам мира, включая симуляцию и гиперсимуляцию, осуществляемые теми, кто категорически убеждён, что мир подчиняется данным законам. Очевидно, именно благодаря массам и их непроизвольному юмору мы и входим в патафизику социального, наконец освобождающую насот всей этой метафизики социального, которая давно нам мешает.

Сказанное полностью противоречит тому, что принято понимать под процессом постижения истины, но последний, похоже, лишь иллюзия движения смысла. Учёный не может согласиться с мнением, согласно которому неживая материя или живое существо отвечают на обращённые к ним «вопросы» «не вполне» или, наоборот, *«слишком* объективно» (в обоих случаях это означает, что «вопросы» поставлены неправильно). Уже само такое предположение кажется ему абсурдным и недопустимым. Учёные бы его никогда не выдвинули. И они поэтому никогда не выйдут из заколдованного круга производимой ими симуляции строгого исследования.

Повсюду в силе одна и та же гипотеза, одно и то же *полагание надёжности* [*axiome de crédibilité*]. Тот, кто занимается рекламой, просто обязан исходить примерно из следующего: люди к рекламе так или иначе прислушиваются, и поэтому всегда существует хотя бы минимальная возможность того, что послание достигнет своей цели и смысл его будет расшифрован. Всякое сомнение на этот счёт должно быть исключено. Если бы выяснилось, что показатель преломления потока сообщений у получателя равен нулю, здание рекламы рухнуло бы в ту же минуту. Реклама живёт исключительно этой верой, которую она постоянно в себе поддерживает (речь идёт о ставке того же рода, что и ставка науки на объективность мира) и которую даже и не пытается по-настоящему проанализировать из страха обнаружить, что столь же правомерно предположить и обратное, а именно: что огромное большинство рекламных сообщений никогда не доходит по назначению, что тем, кому они направлены, уже безразлично их содержание, преломляющееся теперь в пустоте, что людей интересует только медиум — носители посланий, выступающие эффектами среды, эффектами, движение которых выливается в завораживающий спектакль. Маклюэн[25] когда-то сказал: “Medium is message”.[26] Эта формула как нельзя лучше характеризует современную, “cool”,[27] фазу развития всей культуры средств массовой информации, фазу охлаждения, нейтрализации любых сообщений в пустом эфире, фазу замораживания смысла. Критическая мысль оценивает и выбирает, она устанавливает различия и с помощью селекции заботится о смысле. Массы поступают иначе: они не выбирают, они производят не различия, а неразличённость, требующему критической оценки сообщению они предпочитают погружающий в гипноз медиум. Гипнотическое состояние свободно от смысла, и оно развивается по мере того, как смысл остывает. Оно имеет место там, где царствуют медиум, идол и симулякр, а не сообщение, идея и истина. Однако именно на этом уровне и функционируют средства массовой информации. Использование гипноза — это принцип их действия, и, руководствуясь им, они оказываются источником специфического массированного насилия — насилия над смыслом, насилия, отрицающего коммуникацию, основанную на смысле, и утверждающего коммуникацию иного рода. Возникает вопрос: какую же?

Гипотеза, согласно которой коммуникация может осуществляться *вне медиума смысла* и интенсивность коммуникативного процесса снижается по мере того, как этот смысл

---

[25] Маклюэн Херберт Маршалл (1911–1980) — канадский философ и социолог, занимавшийся проблемами коммуникации.

[26] Носитель сообщения есть сообщение (англ.).

[27] Холодную (англ.).

растворяется и исчезает, для нас неприемлема. Ибо подлинное удовольствие мы испытываем не от смысла или его нарастания — нас очаровывает как раз их нейтрализация (см. о Witz[28] и операции остроумия в *Символическом обмене и смерти* [29]). Нейтрализация, порождаемая не каким-то влечением к смерти (его действие свидетельствовало бы о том, что жизнь всё ещё ориентирована в сторону смысла), но просто-напросто враждебностью, отвращением к референции, посланию, коду, к любым категориям лингвистического предприятия — порождаемая отказом от всего этого во имя одной лишь очаровывающей имплозии знака (последняя состоит в растворении полюсов значения: больше нет ни означающего, ни означаемого). Мораль смысла во всех отношениях представляет из себя борьбу с очарованием — вот чего не может понять ни один из защитников смысла.

Исключительно из полагания надёжности *[hypothèese de crédibilité]* исходит и политическая сфера: для неё массы восприимчивы к действию и дискурсу, имеют мнение, наличествуют как объект зондажа и статистических исследований. Только при этом условии политический класс всё ещё может сохранять веру в то, что он и выражает себя, и понимается именно как явление политики. Однако в действительности политическое уже давно превратилось всего лишь в спектакль, который разыгрывается перед обывателем. Спектакль, воспринимаемый как полуспортивный-полуигровой дивертисмент (вспомним выдвижение кандидатов в президенты и вице-президенты в Соединённых Штатах или вечерние предвыборные дебаты на радио и телевидении), в духе завораживающей и одновременно насмешливой старой комедии нравов. Предвыборное действо и телеигры — это в сознании людей уже в течение длительного времени одно и то же. Народ, ссылки на интересы которого были всегда лишь оправданием очередного политического спектакля и которому позволяли участвовать в данном представлении исключительно в качестве статиста, берёт реванш — он становится зрителем спектакля *театрального* , представляющего уже политическую сцену и её актёров.

Народ оказался *публикой* . Моделью восприятия политической сферы служит восприятие матча, художественного или мультипликационного фильма. Точно так же, как зрелищем на домашнем телеэкране, население заворожено и постоянными колебаниями своего собственного мнения, о которых оно узнаёт из ежедневных газетных публикаций результатов зондажа. И ничто из этого не рождает никакой ответственности. Сознательными участниками политического или исторического процесса массы не становятся ни на минуту. Они вошли когда-то в политику и историю только с тем, чтобы дать себя уничтожить, то есть будучи как раз абсолютно безответственными. Здесь нет бегства от политического — это следствие непримиримого антагонизма между классом (возможно, кастой), несущим социальное, политическое, культуру, властвующим над временем и историей, и всем тем, что осталось — бесформенной, находящейся вне сферы смысла массой. Первый постоянно стремится укрепить смысл, поддержать и обогатить поле социального, вторая не менее настойчиво обесценивает любую смысловую энергию, нейтрализует её или направляет в обратную сторону. И верх в этом противостоянии взял отнюдь не тот, кто считается победителем.

Свидетельством тому может служить радикальное изменение взаимоотношения между историей и повседневностью, между публичной и частной сферами. Вплоть до 60-х годов полюсом силы выступала история: частное, повседневное оказывались лишь обратной, теневой стороной политического. Поскольку, однако, взаимодействие данных сторон выглядело в высшей степени диалектичным, имелись все основания надеяться, что повседневное, равно как и индивидуальное, однажды займут достойное место по ту сторону

---

[28] Острота, шутка, анекдот (нем.).

[29] Работа Ж. Бодрийяра, написанная в 1976 г. (рус. изд.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Пер. С. Н. Зенкина. М., 2000).

исторического, в царстве универсальности. Конечно, эта перспектива воспринималась как отдалённая — слишком очевидными были вызывающие сожаление ограниченность активности масс сферой домашнего хозяйства, их отказ от истории, политики и универсального, их рабская зависимость от процесса тупого каждодневного потребления (успокаивало одно: они заняты трудом, благодаря чему за ними сохраняется статус исторического «объекта» — до того момента, пока они не обретут сознание). Сегодня представление о том, какой из двух полюсов является сильным, а какой слабым, становится прямо противоположным: мы начинаем подозревать, что повседневное, будничное существование людей — это, весьма вероятно, вовсе не малозначащая изнанка истории, и, более того, что уход масс в область частной жизни — это, скорее всего, *непосредственный вызов политическому* , форма активного сопротивления политической манипуляции. Роли меняются: полюсом силы оказываются уже не историческое и политическое с их абстрактной событийностью, а как раз обыденная, текущая жизнь, всё то (включая сюда и сексуальность), что заклеймили как мелкобуржуазное, отвратительное и аполитичное.

Итак, полный переворот во взглядах. Деполитизиро-ванные массы, судя по всему, находятся не по эту, а по ту сторону политического. Частное, низкое, повседневное, малозначимое, маленькие хитрости, мелкие извращения и т. д., по всей видимости, располагаются не по эту, а по ту сторону репрезентации. Массы, как выясняется, озабочены приведением в исполнение того смертного приговора политическому, который они вынесли, не дожидаясь исследований на тему «конца политики»; в своей «наивной» практике они трансполитичны в той же мере, в какой они транслингвистичны в своём языке.

Но обратим внимание: из этой вселенной частного и асоциального, не подчиняющейся диалектике репрезентации и выхода к универсальности, из этой сферы инволюции, противостоящей любой революции в верхах и отказывающейся играть ей на руку, кое-кто хотел бы сделать (рассматривая её прежде всего в аспекте сексуальности и желания) новый источник революционной энергии, хотел бы возвратить ей смысл и восстановить в правах как некую историческую отрицательность, причём во всей её тривиальности. Налицо стремление активизировать микрожелания, мелкие различия, слепые практики, анонимную маргинальность. Налицо последняя попытка интеллектуалов усилить незначительное, продвинуть бессмыслие в порядок смысла. И образумить тем самым данное бессмыслие политически. Банальность, инертность, аполитизм были фашистами, теперь они близки к тому, чтобы стать революционерами — и всё это не меняя смысла, то есть не переставая иметь смысл. Микрореволюция банальности, трансполитика желания являются ещё одним трюком «освободителей». На самом же деле отказ от смысла смысла не имеет.

От сопротивления к гиперконформизму

Появление молчаливого большинства нужно рассматривать в рамках целостного процесса исторического сопротивления социальному. Конечно, сопротивления труду, но также и медицине, школе, разного рода гарантиям, информации. Официальная история регистрирует лишь одну сторону дела — прогресс социального, оставляя в тени всё то, что, будучи для неё пережитками предшествующих культур, остатками варварства, не содействует этому славному движению. Она подводит к мысли, что на сегодняшний день социальное победило полностью и окончательно, что оно принято всеми. Но с развитием социальности развивалось и сопротивление ей, и последнее прогрессировало *ещё более быстрыми темпами, чем сама социальность* . И теперь оно существует по преимуществу уже не в тех грубых и примитивных формах, которые были свойственны ему вначале (сегодня прогрессу социального благодарны, сегодня только сумасшедшие отказываются пользоваться такими благами цивилизации, как письменность, вакцинация или социальные гарантии). Прежнее открытое сопротивление соответствовало этапу столь же открытой и грубой социализации и исходило от традиционных групп, стремящихся сохранить свою культуру, изначальный уклад жизни. Гомогенной и абстрактной модели социального

сопротивлялась ещё не масса, а дифференцированные структуры.

Этот прежний тип сопротивления проанализирован в концепции “two steps flow of communication” («двухуровневой коммуникации»), которая разработана американской социологией и согласно которой масса вовсе не образует структуру пассивного приёма сообщений средств информации, будь то сообщения политического, культурного или рекламного характера. На первом уровне коммуникативного процесса микрогруппы и индивиды их расшифровывают, но, совершенно не склонные к точному, в соответствии с установленными правилами, их прочтению, делают это по-своему. На втором — они с помощью своих лидеров этот поток посланий захватывают и преобразуют. Они начинают с того, что господствующему коду противопоставляют свои особые субкоды, а заканчивают тем, что любое приходящее к ним сообщение заставляют циркулировать в рамках специфического, определяемого ими самими цикла. Но точно так же поступают и дикари, у которых европейские деньги находятся в уникальном, характерном только для их культур символическом обращении (к примеру, у сианов Новой Гвинеи), или корсиканцы, у которых система всеобщего избирательного права и выборности функционирует по законам соперничества кланов. Эта манера подсистем добиваться своего путём присвоения, поглощения, подчинения распространяемого доминирующей культурой материала, эта их *хитрость* заявляет о себе повсюду. Именно благодаря ей «отсталые» массы превращают медицину в своеобразную «магию». И они делают это не по причине, как принято считать, архаичности и иррациональности своего мышления, а потому, что и в данной ситуации придерживаются характерной для них активной стратегии нейтрализующего присвоения, не анализируемого ими, но, тем не менее, сознательного (ибо они обладают сознанием «без знания»)противодействия внешнему — стратегии, которая позволяет им с успехом защититься от губительного для них влияния рациональной медицины.

Однако здесь перед нами именно структурированные, традиционные — и с формальной, и с содержательной точек зрения — группы. Иное дело — когда угроза для социализации исходит *от масс* , то есть групп чрезвычайно многочисленных, внушающих страх и безликих, сила которых заключена, наоборот, в их бесструктурности и инертности. В случае со средствами массовой информации традиционное сопротивление сводится к тому, чтобы интерпретировать сообщения по-своему — в рамках особого кода группы и в контексте её установок. Массы же принимают всё и абсолютно всё делают зрелищным; им не требуется другой код, им не требуется смысл; они, в сущности, не сопротивляются — они просто обрекают всё на соскальзывание в некую неопределённую сферу, которая даже не является сферой бессмыслия, а выступает областью всеохватывающего гипноза/манипуляции.

Всегда считалось, что массы находятся под влиянием средств массовой информации — на этом построена вся идеология последних. Сложившееся положение объясняли эффективностью знаковой атаки на массу. Но при таком, весьма упрощённом, понимании процесса коммуникации упускается из виду, что *масса — медиум гораздо более мощный, чем все средства массовой информации, вместе взятые* , что, следовательно, это не они её подчиняют, а она их захватывает и поглощает или, по меньшей мере, она избегает подчинённого положения. Существуют не две, а одна-единственная динамика — динамика массы и одновременно средств массовой информации. Mass(age) is message.[30]

Та же ситуация и с кино, которое создавалось как медиум рационального, документального, содержательного, *социального* и которое очень быстро и решительно сместилось в сферу воображаемого.

Та же ситуация и с техникой, наукой и знанием. Они обречены на существование в качестве магических практик и предназначенных для потребления зрелищ. Та же ситуация и

---

30 Масс(-а, — ирование) есть сообщение (англ.). Слово массирование употреблено здесь в значении *движение массы* , *жизнь массы* , *бытие массы* .

с самим потреблением. Экономисты, к своему изумлению, так и смогли рационализировать его, несмотря на основательность их «теории потребностей», несмотря на согласие массы с их рассуждениями о том, что в действительности является полезным, а что нет. Ибо на поведении массы этот её консенсус с экономистами обычно (а может быть, и никогда) не сказывается. Масса перевела потребление в плоскость, где его уровень оказывается показателем статуса и престижа, где оно выходит за всякие разумные пределы или симулируется, где царствует потлач,[31] который отменяет какую бы то ни было потребительную стоимость. Обращённые к ней настойчивые призывы к правильному, рациональному потреблению раздаются со всех сторон (они исходят и от официальной пропаганды, и от общества потребителей, и от ассоциаций экологов и социологов), но всё напрасно. Ориентируясь на стоимость/знак, не задумываясь, делая на неё ставку (что экономистами всегда — даже когда представление об этой стоимости как о чём-то весьма неустойчивом они пытались ввести в свои теории — рассматривалось в качестве отступления от принципов экономического разума), *масса разрушает экономику* , выступает против «объективного» императива потребностей и рационального контроля за намерениями и устремлениями. Если стоимость/знак противопоставляется ею потребительной стоимости, то отсюда следует, что она обесценивает уже и политическую экономию. Утверждение, будто всё это в конце концов укрепляет стоимость меновую, то есть систему, не выдерживает критики. Ибо, хотя система и сохраняет ещё способность с успехом защищаться отданной игры и даже использует её в своих интересах (ей выгодно наличие массы, потерявшей рассудок от создаваемых для кухни технических новинок и т. п.), такого рода соскальзывание, такого рода смещение, которые практикуются массами, означают, что экономическое, почти не ограниченное никакими пределами, получившее чуждую себе направленность, превратившееся в магический ритуал и театрализованное представление, доведённое массами до состояния пародии на самого себя, — это экономическое уже сейчас утратило всю свою рациональность, уже сейчас переживает свой конец. Массы (мы, вы, все), вопреки надеждам учителей, вопреки всем призывам воспитателей-социалистов, сделали его асоциальным, отклоняющимся от нормы, и продемонстрировали, что отныне не ориентируются ни на какую политическую экономию. Они не стали готовиться к будущим революциям и брать на вооружение теории, в соответствии с которыми они должны «освободиться» от экономического в рамках «диалектики» поступательного движения. Они знают, что ни против чего, строго говоря, не восстают, что упраздняют систему, всего лишь подталкивая её к функционированию по законам гиперлогики, в режиме предельной нагрузки, который ей противопоказан. Они заявляют: «Вы хотите, чтобы мы потребляли. Ну что ж, мы будем потреблять всё больше и больше. Мы будем потреблять всё что угодно. Без всякой пользы и смысла».

Так же обстоит дело и с медициной: и здесь прямое сопротивление (которое, впрочем, окончательно не исчезло) было оттеснено в сторону вариантом ниспровержения более гибким — гипертрофированно, необузданно почтительным к ней отношением, панически слепым подчинением её предписаниям. Фантастический рост потребления в секторе медицинских услуг, полностью лишающий медицину её социального характера, — лучшего средства для её уничтожения не придумаешь. Отныне уже и сами врачи не знают, чем они занимаются, в чём заключается их функция, поскольку масса воздействует на них в гораздо большей степени, чем они на массу. Пресса вынуждена констатировать: «Люди требуют от медицины заботы, хороших врачей, лекарств, гарантий здоровья — им всего этого мало, они хотят ещё, всё больше и больше, и они хотят этого без конца». Перестают ли массы в своём отношении к медицине быть массами? Отнюдь нет: они разрушают её как социальный

---

[31] Потлач — праздник у индейцев Северной Америки, сопровождавшийся обрядами подношения даров тем, кто на него приглашался. В этих обрядах в символической форме выражалось соперничество различных социальных групп. Слово используют также для обозначения самой системы обмена, складывающегося между такого рода группами.

институт, подрывают систему социального обеспечения; требуя увеличения предоставляемых им медицинских услуг, они ставят под удар социальное как таковое. Видеть в *социальном* предмет *индивидуального* потребления, товар, цена которого зависит от колебаний спроса и предложения, — что может быть большим издевательством над этим социальным? Пародия на подчинение и вытекающий из неё парадокс: массы выходят за пределы логики социального, расшатывают всю его конструкцию именно потому, что в своих действиях следуют его законам. Разрушительная гиперсимуляция, деструктивный гиперконформизм (как и в ситуации с Бобуром,[32] которая была проанализирована по другому поводу[33]) приобретают черты самого решительного вызова, и в полной мере оценить его мощь, предсказать, какими последствиями для системы он обернётся, сегодня не сможет никто. Существо нашей современности не заключено ни в борьбе классов, ни в неупорядоченном броуновском взаимодействии лишённых желания меньшинств — оно состоит именно в этом глухом, но неизбежном противостоянии молчаливого большинства навязываемой ему социальности, именно в этой гиперсимуляции, усугубляющей симуляцию социального и уничтожающей его по его же собственным законам.

Масса и терроризм

Мы живём в это странное время, когда массы не соглашаются носить имя социального и тем самым отказываются и от смысла, и от свободы. Но отсюда не следует, что они включены в какую-то иную — новую и не менее славную — референцию. Ибо они не существуют. Можно лишь констатировать, что, столкнувшись с ними, начинает медленно разваливаться любая власть. Молчаливое большинство — это не сущность и не социологическая реальность, это тень, отбрасываемая властью, разверзнувшаяся перед ней бездна, поглощающая её форма. Текучее, неустойчивое, податливое, слишком быстро уступающее любому воздействию скопление, характеризующаяся гиперреальным конформизмом, крайней степенью пассивности туманность — вот виновник сегодняшней гибели власти. Но точно так же и краха революции — потому что такого рода имплозивная масса по определению никогда не взорвётся и, следовательно, неизбежно нейтрализует любой обращённый к ней революционный призыв. Как же тогда быть с этими массами? Они являются основной темой всех дискурсов, ориентация на них стала навязчивой идеей любого социального проекта. И, тем не менее, всех, кто на них ставит, постигает неудача, поскольку каждый, кто это делает, масс не знает, — он исходит из их классической дефиниции, которая сложилась в контексте эсхатологической надежды на социальное и его осуществление. Но массы — *это не социальное* , это отступление всякого социального и всякого социализма. Конечно, всегда было достаточно и теоретиков иной ориентации: с подозрением относящихся к смыслу, указывающих на тупики свободы и разоблачающих политический обман, резко критикующих рациональность и любую форму репрезентации. Массы, однако, не критикуют — смысла, политического, репрезентации, истории, идеологии они избегают, опираясь на силу сомнамбулического отказа. Они действуют — здесь и теперь они осуществляют то, что так или иначе имеет в виду и наиболее радикальная критика, которая, тем не менее, не зная, как реализовать свои замыслы, упорно продолжает мечтать о будущей революции: революции критической, революции престижа, социального, желания. Но уже происходящей — инволюционной, а не активно-критической — революции она не замечает. Последняя имплозивна и не направляется никакими идеями. Она основана на инерции, а не на бодрой и радостной негативности. Она молчалива и именно инволютив-на — то есть

---

[32] Бобур — так французы для краткости называют Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, расположенный между улицами Сен-Мартен и Бобур.

[33] L’effet et Beaubourg. Ed. Galilée. Paris, 1977.

абсолютно исключает революционные речи и призывы к сознательности. У неё нет смысла. Ей нечего нам сказать.

К тому же единственный феномен, который близок массе как виновнику потрясений и смерти социального, — это терроризм. С одной стороны, масса и терроризм — непримиримые враги, и власть без труда сталкивает их друг с другом. Но с другой — есть и то, в чём они удивительным образом совпадают: отрицает социальное и отказывается от смысла не только масса — это характерно и для терроризма. Терроризм полагает, что он выступает против капитала (мирового империализма и т. п.), но он ошибается — на деле он противодействует социальному, которое и является его настоящим противником. Современный терроризм держит под прицелом социальное в ответ на *терроризм социального* . И он держит под прицелом именно современное социальное: переплетение сфер, связей, центров и структур, сеть контроля и блокировки — всё то, что окружает нас со всех сторон и благодаря чему мы, все мы, оказываемся молчаливым большинством. Перед ним новая — гиперреальная, неуловимая, опирающаяся уже не на закон, репрессии и насилие, а на внедрение моделей и на убеждение/разубеждение — социальность, и он отвечает на её вызов *ничем иным, как гиперреальным* же действием — действием, которое с самого начала погружено в расходящиеся в разных направлениях волны средств массовой информации и гипноза, которое развёртывается не в области репрезентации и сознания, рефлексии и логики причинно-следственной зависимости, а там, где заявляет о себе мышление, черпающее свою силу в механизмах совместных положительных или отрицательных переживаний, в механизмах цепной реакции передачи настроения. Терроризм столь же лишён смысла и столь же неопределёнен, как и система, с которой он борется и в которую, по сути дела, включён в качестве средоточия максимальной и одновременно исчезающе малой имплозии. Терроризм — это не вспышка исторической и политической критики, он по-настоящему имплозивен, и он вызывает оцепенение, ошеломляет, а потому внутренне связан с молчанием и пассивностью масс.

Терроризм направлен не на то, чтобы заставить говорить, воодушевить или мобилизовать, — он не приводит к революции (в этом плане он, пожалуй, абсолютно контр продуктивен; но, вменяя ему в вину вред, который он наносит революционному движению, надо учитывать, что он и не стремится быть революционером). Он ориентирован на массы именно в их молчании, массы, загипнотизированные информацией. Он концентрирует своё внимание исключительно на современном социальном, на этой постоянно влияющей на нас белой магии информации, симулирования, разубеждения, анонимного и произвольного управления, на этой магии абстракции — магии, которую он максимально активизирует и которую, таким образом, подталкивает к смерти, используя магию иную, чёрную, магию абстракции ещё более сильной, более анонимной и более произвольной: магию террористического акта.

Террористический акт единственный не является актом репрезентации. Этим он сближается с массой, выступающей единственной реальностью, которая не может иметь представления. Отсюда следует, что терроризм вовсе *не представляет* невысказанное массами и никоим образом не служит активным выражением их пассивного сопротивления. Между терроризмом и поведением массы существует отношение не представляющего и представляемого, а эквивалентности: оба не направляются никакой идеей, оба не принадлежат никакой репрезентативности, оба не имеют никакого смысла. Их объединяет самое радикальное, самое решительное отрицание любой репрезентативной системы. И это на сегодняшний день, в сущности, всё, что мы в состоянии сказать о связях, которые могут устанавливаться между двумя элементами, находящимися вне области репрезентации. Разобраться в данном вопросе нам не позволяет базовая схема нашего познания — ею всегда полагается среда *[medium]* субъекта и языка, среда представления. И потому нам открыты лишь сцепления репрезентации; что же касается соединений, основанных на аналогии или родстве, соединений непосредственных или нереференциальных, — что касается всех других структур, то мы их практически не знаем. Безусловно, массы и терроризм связывает что-то

весьма важное, то, что было бы бесполезно искать у исторически предшествующих им репрезентативных систем (народ/национальное собрание, пролетариат/партия, меньшинства маргиналов/представляющие их группы и группки…). И также, как между полюсами какой-нибудь репрезентативной системы циркулирует энергия социальная, энергия позитивная, точно так же, по-видимому, циркулирует энергия и между массой и терроризмом, между этими не-полюсами системы не-репрезентации, но это *энергия противоположного характера* , энергия не социальной аккумуляции и трансформации, а социальной дисперсии, рассеивания *социального* , энергия поглощения и уничтожения политики.

Утверждать, что «эпоха молчаливого большинства» «порождает» терроризм — значит допускать ошибку. На самом же деле масса и терроризм, хотя и непонятным для нас образом, но именно сосуществуют. И такого рода их синхронное функционирование, каким бы ни было к нему отношение, — единственное, что по-настоящему знаменует собой конец политического и социального. Единственное, что характеризует этот период неудержимой имплозии всех систем репрезентации.

Задача терроризма заключается вовсе не в том, чтобы продемонстрировать репрессивный характер государства (на это ориентирована провокационная негативность групп и группок, которые цепляются за неё как за последнюю возможность выступить перед массами в качестве их представителей). Будучи нерепрезентативным, он делает очевидной — запуская механизм цепной реакции её распространения, а не указывая на неё и не пытаясь подтолкнуть к её осознанию — нерепрезентативность любой власти. Именно такова его подрывная работа: он утверждает не-репрезентацию, внедряя её крайне малыми, но весьма концентрированными дозами.

Характерная для него жестокость объясняется тем, что он отрицает все репрезентативные институции (профсоюзы, организованные движения, сознательную «политическую» борьбу и т. п.), включая и те, от которых исходят заверения в солидарности с его усилиями, ибо солидарность — это всего лишь один из способов конституировать его как модель, как эмблему и, следовательно, заставить быть представителем. (О погибших участниках акции в таких случаях говорят: «Они умерли за нас, их смерть не напрасна…».) Для того чтобы преодолеть какие бы то ни было смыслы, для того чтобы создать ситуацию, когда невозможно осознать, насколько он социально нелегитимен, в какой мере он не ведёт ни к каким политическим результатам и не вписан ни в какую историю, терроризм использует любые средства. Его единственное «отражение» — вовсе не цепь вызванных им исторических следствий, а рассказ *[récit]* , шокирующее сообщение о нём в средствах информации. Однако этот рассказ принадлежит порядку объективности и информативности не больше, чем терроризм — порядку политического. И тот и другой находятся за пределами и смысла, и репрезентации — в сфере, которая, является если не областью мифа, то, во всяком случае, областью симулякра.

Другой аспект террористического насилия — отрицание всякой детерминации и всякого качества. В этом плане терроризм надо отличать от бандитизма и акций «коммандос». Отряд «коммандос» осуществляет военные операции против определённого противника (они могут выражаться в подрыве железнодорожного состава, внезапном нападении на вражеский штаб и т. д.). Бандитизм (налёт на банк, лишение свободы в расчёте на получение выкупа и т. п.) является разновидностью традиционного уголовного насилия. Все эти действия имеют цель, экономическую или военную. Современный терроризм, начало которому положили захваты заложников и игра с откладыванием-отсрочиванием смерти *[jeu différé de la mort]* , уже не имеет ни цели (если всё же допустить, что он ориентирован какими-то целями, то они либо совсем незначительны, либо недостижимы — во всяком случае он является самым неэффективным средством их достижения), ни конкретного врага. Можно ли сказать, что захватом заложников палестинцы борются с государством Израиль? Нет, их действительный противник находится за его спиной. Пожалуй, он не принадлежит даже и области мифа, ибо выступает как нечто анонимное, недифференцированное, как некий мировой социальный порядок. Палестинцы обнаруживают этого врага где угодно,

когда угодно, для них его олицетворением могут выступать любые, даже самые невинные, люди. Именно так заявляет о себе терроризм; и он остаётся самим собой, сохраняет себя только потому, что действует везде, всегда и против всех — иначе он был бы лишь вымогательством или акцией «коммандос». *Характер функционирования этой слепой силы находится в полном соответствии с абсолютной недифференцированностью системы* , в которой уже давно не существует различия между целями и средствами, палачами и жертвами. Своими действиями, выражающими его убийственное безразличие к тому, кто окажется у него в заложниках, терроризм направлен как раз против самого главного продукта всей системы — анонимного и совершенно безликого индивида, индивида, ничем не отличающегося от себе подобных. Невиновные расплачиваются за преступление, состоящее в том, что они теперь никто, что у них нет собственной судьбы, что они лишены своего имени, лишены системой, которая сама анонимна и которую они, таким образом, символизируют, — вот парадокс нынешней ситуации. Они являются конечным продуктом социального, абстрактной и ставшей сегодня всемирной социальности. И именно потому, что они теперь — это *«кто угодно»* , им и суждено быть жертвами терроризма.

Как раз в этом смысле, или, лучше сказать, в этом своём вызове смыслу, террористический акт сближается с катастрофами, происходящими в природе. Никакой разницы между подземным толчком в Гватемале и угоном «Боинга» Люфтганзы с тремястами пассажирами на борту, между «естественным» действием природы и «человеческим» действием терроризма не существует. Террористами являются и природа, и внезапный отказ любой технологической системы: крупные сбои в системах подачи электроэнергии в Нью-Йорке (в 1965 и 1977 годах) создали ситуации значительно более серьёзные, чем те, к которым приводили все до сих пор осуществлявшиеся спланированные террористические акты. Более того: эти крупные аварии технологического плана, как и катаклизмы природного характера, демонстрируют возможность радикальной подрывной работы *без субъекта* . Сбой 1977 года в Нью-Йорке мог бы быть устроен и хорошо организованной группой террористов, но результат оказался бы тем же самым. Последовали бы те же акты насилия и грабежи, точно так же стало бы нарастать возмущение происходящим и точно таким же мучительным было бы ожидание того, когда же наконец установится «социальный» порядок. Отсюда следует, что терроризм порождён не стремлением к насилию, а характерен для нормального состояния социального — в той мере, в какой это нормальное состояние в любой момент может превратиться в нечто прямо противоположное, абсурдное, неконтролируемое. Природная катастрофа способствует такому повороту событий и именно поэтому парадоксальным образом становится *мифическим выражением* катастрофы социального. Или, точнее, природная катастрофа, будучи в высшей степени бессмысленным и нерепрезентативным событием (разве что за ним стоит Бог; не случайно в ситуации с последней аварией в электросетях Нью-Йорка ответственный работник *Continental Edison* заговорил о Боге и его вмешательстве), становится своего рода симптомом или наиболее ярким олицетворением особого состояния социального, а именно его катастрофы и крушения всех репрезентаций, на которые социальное опиралось.

Системы имплозивные и взрывные

Треугольник *массы — средства массовой информации — терроризм* указывает на пространство, в котором развёртывается характерный для современности процесс имплозии. Этот процесс пронизан нарастающим насилием — насилием рассеянным и концентрированным, насилием вовлечения и гипноза, насилием пустоты (гипнотическое воздействие есть предельная агрессивность *нейтрального)* . В своём нынешнем состоянии мы имеем дело только с такой — неистовой и катастрофической — имплозией. Сегодня она не может быть иной, потому что выступает завершающим периодом *крушения* — последним этапом гибели системы взрыва и контролируемого расширения, господствовавшей на Западе

на протяжении нескольких веков.

Тем не менее, имплозия отнюдь не обязательно развёртывается как катастрофа. Она существует и в контролируемой и направляемой форме. В этом своём качестве она обнаруживает себя прежде всего в примитивных и традиционных обществах и, более того, оказывается их скрытой главной особенностью. Такого рода обществам не свойственна экспансия — в них царствует не центробежная, а центростремительная сила. Такого рода сингулярные множества никогда не нацелены на универсальное — они сконцентрированы на цикле, на ритуале, они стремятся замкнуться в этом нерепрезентативном процессе, где нет ни высшей инстанции, ни дизъюнктивной полярности, но где отсутствует также и опасность их, множеств, саморазрушения (сказанное, возможно, не относится к столь необычной имплозии, как коллапс культур тольтеков, ольмеков и майя, культур, о которых мы вряд ли что-либо ещё узнаем и об огромных империях которых мы можем сказать лишь то, что они исчезли без каких-либо более или менее заметных следов катастрофы, без видимой внешней или внутренней причины, как будто внезапно утратив все стимулы к существованию). Примитивные общества живут, следовательно, благодаря *контролируемой имплозии* ; но если они ей уже не управляют, их ждёт смерть. Это значит, что теперь они оказались во власти взрыва (то есть стали рабами неконтролируемого увеличения населения или столь же неуправляемого роста объёма произведённой продукции, пленниками безудержного расширения в пространстве или же просто-напросто объектами колонизации, насильно приобщающей их к принципам развития и ориентации вовне, в соответствии с которыми существуют западные системы).

Наши «современные» цивилизации, напротив, на всех уровнях строятся на основе экспансии и взрывных процессов — под знаком универсализации рынка, экономических и философских ценностей, под флагом универсальности закона и такой же универсальности стратегии завоевания. Они, без всякого сомнения, оказались способными, по крайней мере до сегодняшнего дня, существовать за счёт *контролируемого взрыва* , регулируемого поэтапного высвобождения энергии, и этим определяется золотой век их культуры. Однако сегодня их взрывное развитие осуществляется такими немыслимыми темпами, что контроль за ним становится невозможным. Этот взрывной процесс достиг предельной скорости и предельного размаха и начал выходить за рамки сферы универсального — ему уже тесно в той области, которая является областью экспансии. И так же, как примитивные общества были разрушены динамикой взрыва, так и не сумев на определённом этапе удержать под контролем процесс имплозии, — точно так же и наша культура начинает разрушаться имплозией, поскольку не имеет средств справиться с взрывной динамикой.

Имплозия неизбежна, и все усилия по спасению систем экспансии, существующих в соответствии с принципами реальности, аккумуляции и универсальности, в соответствии с принципами эволюции, не могут не быть напрасными. Они продиктованы исключительно ностальгией по тому, что уходит. Но к их числу надо отнести и усилия тех, кто настаивает на необходимости высвобождения разного рода особых энергий: либидинальных, множественных, энергии фрагментарных интенсивностей и т. д. Дело в том, что «высвобождение энергий» («пролиферация сегментов» и т. п.), которое имеет место в ходе так называемой «революции на молекулярном уровне», происходит всё ещё в границах хотя и сжимающегося, но по-прежнему заявляющего о себе поля экспансии, лежащего в основании нашей культуры. Ничтожная по силе активность, исходящая от желания, — всего лишь продолжение мощных попыток утверждения реальности, предпринятых капиталом, распад на молекулярные образования — всего лишь логическое завершение тотального усилия по поддержанию различных пространств социального. Мы являемся свидетелями угасания системы взрыва с её отчаянным стремлением овладеть энергией, дошедшей до своего предела, или, что то же самое, раздвинуть пределы этой энергии (определяющий ориентир нашей культуры) — с тем, чтобы спасти экспансию и движение к освобождению.

Но имплозию не остановит ничто. Победа имплозивного над взрывным предрешена, и вопрос лишь в том, за каким — жёстким и катастрофическим или мягким и замедленным —

имплозивным процессом будущее. Последний пытается подчинить себе новые антиуниверсалистские, анти-репрезентистские, трайбалистские[34] и т. п. центробежные силы, действие которых обнаруживается в возникновении разного рода общин, в обращении к наркотикам, в выступлениях против загрязнения среды и дальнейшего роста промышленного производства. Но мягкую имплозию надо оценивать трезво. Скорее всего, она недолговечна и закончится безрезультатно. Превращение систем имплозивных в системы взрывные нигде не было безболезненным — оно всегда сопровождалось большими потрясениями; жёстким и катастрофическим будет, по всей видимости, и наш переход к имплозии.

…или конец социального

Динамика социального не является ясной и определённой. Чем характеризуются современные общества — его нарастанием или распадом? Иначе говоря, им свойственны социализация или последовательная десоциализация? Ответ зависит от того, как понимается социальность, но он в любом случае не может быть окончательным и однозначным. Скорее всего, социальное обладает такими характеристиками, что институциями, которые выступают вехами «социального прогресса» (урбанизация, концентрация, производство, труд, медицина, обучение в школе, социальное обеспечение, страхование и т. д.), включая сюда и капитал, являющийся, пожалуй, самым эффективным проводником социализации, оно в одно и то же время и создаётся, и разрушается.

Поскольку социальное, по-видимому, сложено из абстрактных инстанций, возникающих одна за другой на развалинах предшествующих символических и ритуальных обществ, эти институции его — шаг за шагом — производят. Но они работают именно на неё — ненасытную абстракцию, питающуюся, возможно, «самой сутью» социального. И в этом плане по мере развития своих институций социальное не укрепляется, а регрессирует.

Данный противоречивый процесс ускоряется и достигает своего максимального размаха с появлением средств массовой информации и самой информации. Средства информации, *все* средства, и информация, *вся* информация, действуют на двух уровнях: внешний — уровень наращивания производства социального, глубинный — тот, где и социальные отношения, и социальное как таковое нейтрализуются.

Но тогда, если социальное, во-первых, разрушается — тем, что его производит (средствами информации и информацией), а во-вторых, поглощается — тем, что оно производит (массами), оказывается, что его дефиниция не имеет референта, и термин «социальное», который является центральным для всех дискурсов, уже ничего не описывает и ничего не обозначает. В нём не только нет необходимости, он не только бесполезен, но всякий раз, когда к нему прибегают, он не даёт возможности увидеть нечто иное, не социальное: вызов, смерть, совращение, ритуал или повторение — он скрывает то, что за ним стоит всего лишь абстракция, результат процесса абстрагирования, или даже просто *эффект* социального, симуляция и видимость.

Неопределенность заложена уже в термине «социальное отношение». Что такое «социальное отношение», «социальная связь»? Что такое «производство социальных связей»? Понятным содержание этих выражений оказывается лишь на первый взгляд. Является ли социальное изначально и по своей сути «отношением» (или «связью»), что неизбежно предполагает высокую степень его абстрактности и рациональности, или же оно есть нечто иное — то, что извне рационализируется термином «отношение»? А может быть, «социальное отношение» отнесено *к чему-то другому* , а именно к тому, что оно разрушает? Может быть, оно отмечает конец социального или кладёт начало его концу?

Так называемые «социальные науки» были призваны закрепить впечатление, что

---

[34] В данном случае имеется в виду стремление к обособлению, свойственное самым различным по своему характеру группам общества.

социальность вечна. Но сегодня от него надо освободиться. Существовали *общества* , которые обходились *без социального* , как они обходились и без истории. Ни термин «отношение», ни термин «социальное» к характерным для этих образований символическим структурам взаимных обязательств не приложимы. С другой стороны, социального, по всей видимости, не будет и в наших «обществах» — они хоронят его тем, что оно в них симулируется. И поскольку видов смерти у него столько же, сколько определений, умирать ему суждено по-разному. Социальное, судя по всему, в состоянии существовать лишь очень короткое время: в узком промежутке между эпохой символических формаций и возникновением нашего «общества», где оно уже не живёт, а только угасает. Раньше — его ыет ещё, позже — его нет уже. Но «социология», кажется, будет доказывать его вечность и после его смерти — в пустых разговорах представителей «социальных наук» ему уготована жизнь и после того, как оно исчезнет.

На протяжении двух столетий неиссякаемыми источниками энергии социального были детерриториализация и концентрация, обнаруживающие себя во всё большей унификации инстанций. Эта унификация происходит в централизованном пространстве перспективы, которое придаёт смысл всем оказавшимся в нём элементам благодаря тому, что просто ориентирует их на схождение в бесконечности (в качестве пространства и времени социальное, действительно, делает перспективу бесконечной). Социальность оформляется только в этой всеохватывающей перспективе.

Но не будем забывать: такого рода перспективное пространство (как в живописи и архитектуре, так и в политике или экономике) является лишь одной из моделей симуляции, для которой характерно то, что она даёт место эффектам истины и объективности, невозможным, немыслимым в других моделях. А что, если она представляет из себя просто *ловушку?* В таком случае всё, что было задумано и осуществлено в этом социальном «сценическом действии по-итальянски», никогда не имело существенного значения. В своей основе вещи никогда не функционировали социально — они приходили лишь в символическое, магическое, иррациональное и т. п. движения. Отсюда и следует, что капитал есть *вызов* обществу. Иначе говоря, эта машина всеохватывающей перспективы, эта машина истины, рациональности и продуктивности, какой является капитал, чужда и объективной целесообразности, и разуму: она есть прежде всего насилие, насилие, состоящее в том, что социальное направляется против социального. Но по своей сути данная машина не является социальной — ей нет дела до капитала и социального в их антагонистическом единстве. Она не подразумевает контракт, она никогда не предполагает договор, заключённый между различными инстанциями по закону (всё это для неё пустое) — она ориентирована на ставку, на вызов, то есть на что-то, что не проходит по линии «социальной связи». (Вызов находится вне диалектики и вне взаимного противостояния полюсов в рамках какой-либо целостной структуры. Он есть процесс *уничтожения* всех противостоящих элементов, всех противодействующих субъектов, и в первую очередь тех, кто бросает вызов: тем самым он уходит от любого контракта, который мог бы дать место «отношению». Логика обмена ценностями *[échange de valeur]* теперь не действует. В силу вступает логика отказа от ценности и смысла. Герой вызова неизменно занимает позицию самоубийцы, но его самоубийство триумфально: именно разрушая ценность (свою ценность), именно уничтожая смысл (свой смысл), он вынуждает другого реагировать всякий раз неадекватно, всякий раз чрезмерно. Вызов всегда исходит оттого, что не имеет ни смысла, ни имени, ни идентичности, и он всегда брошен тому, что за них держится, — это вызов смыслу, власти, истине, самой их способности существовать, самому их стремлению к существованию. Только такого рода *обращение[réversion]* силы назад и способно положить конец власти, смыслу и ценности; надеяться на какое-то *соотношение* сил, каким бы благоприятным оно ни было, бесполезно — оно предполагает полярную, бинарную структурную связь, которая по самой своей природе всегда формирует пространство смысла и власти.[35])

---

35 То же самое можно сказать и о совращении. Если секс и сексуальность (а они таковы, что в ходе

Относительно социального возможны несколько гипотез.

1. *Социальное, по сути дела, никогда не существовало*. Социального «отношения» никогда не было. Ничто никогда не функционировало социально. В условиях неизбежного вызова, неотвратимого совращения и неминуемой смерти всегда имела место лишь *симуляция* социального и социального отношения. В этом случае нет никаких оснований говорить ни о «реальной», ни о скрытой, ни об идеальной социальности. Оправдано лишь гипо-стазирование симулякра. Если социальное есть симуляция, то единственное вероятное резкое изменение ситуации — это стремительная *десимуляция*, при которой социальное само для себя перестаёт быть пространством референции, выходит из игры и кладёт конец сразу и власти, и эффекту социального, и зеркалу социального, социальное поддерживающему. Десимуляция сама приобретает характер вызова (обратного вызову капитала социальному и обществу): вызова способности капитала и власти существовать в соответствии с их собственной логикой — *у них её нет*, в качестве механизмов они исчезают сразу же, как только разрушается симуляция социального пространства.[36] И сегодня это резкое изменение ситуации происходит. Разложение социального мышления, истощение и вырождение социальности, угасание социального симулякра (настоящий вызов конструктивности и продуктивности имеющей для нас решающее значение социальной теории) — всему этому мы являемся свидетелями. Социальное исчезает бесследно, как будто его и не было. И не в процессе эволюции или революции, а в результате катастрофы. Это уже не «кризис» социального — это распад самого его устройства. Маргиналы (умалишённые, женщины, наркоманы, преступники), которые якобы разрушают социальное, здесь не причем — их активность, наоборот, служит для слабеющей социальности источником дополнительной энергии. Но ресоциализация невозможна. И социальное, существующее в соответствии с принципами реальности и рациональности, улетучивается, подобно тому как, едва заслышав первый крик петуха, улетучивается призрак.

2. *Социальность всё же существовала и существует, более того, она постоянно нарастает*. Она пронизывает всё — есть только социальность. Социальное вовсе не исчезает, а, напротив, торжествует и заявляет о себе повсюду. Можно, однако, предположить — вопреки мнению, будто динамика социального развёртывается в закономерный прогресс человечества, а всё её избежавшее представляет собой лишь остаток *[résidu]*, — что как раз само *социальное и является остатком* и что оно торжествует именно в этом качестве. Заполнивший собой всё, ставший универсальным и получивший статус реальности остаток рассеивания символического порядка — это и есть социальное.[37] Перед нами уже более изысканная форма смерти. В данном случае сегодняшняя ситуация такова, что мы всё дальше погружаемся в социальное, то есть в сферу чистых отложений, в пространство, заполненное мёртвым трудом, мёртвыми, контролируемыми бюрократией связями, мёртвыми языками и синтагмами (что-то мёртвое, что-то от смерти есть уже в самих терминах «отношение» и «связь»).

Безусловно, теперь нельзя говорить, что социальное умирает — *отныне оно есть*

сексуальной революции неизбежно изменяются) выступают формой обмена и производства сексуальных отношений, то совращение и обмен — это противоположности. Совращение сближается не с обменом, а с вызовом. Сексуальность стала «сексуальным отношением» (и смогла заявить о себе уже в рационализированных терминах ценности и обмена), только выйдя за рамки совращения, — так же и социальное превратилось в «социальную связь» лишь тогда, когда утратило своё символическое измерение.

[36] Вызов же социальному может обернуться усилением социального симулякра и требования социальности, *исходящего от социального*. Гиперконформизм становится непреодолимым, крайним, превращается в ещё более категоричное настаивание на социальности, идущее от социального как нормы и как дискурса.

[37] В *Символическом обмене и смерти* речь идёт о трёх видах остаточности: остаточности ценности — в плане экономическом, фантазма — в плане психическом, и значения — в плане лингвистическом. К ним надо добавить остаточность социального — в плане… социальном.

аккумуляция смерти . Мы действительно принадлежим цивилизации сверхсоциальности и в то же время неисчезающего и неуничтожимого остатка, захватывающего всё новые территории по мере того, как социальное расширяется.

Образование остатка и его новое использование — таковы, по-видимому, основные моменты социального как производства. Его циклы уже давно не имеют никаких «социальных» ориентиров, так что оно представляет собой абсолютно самостоятельную, вращающуюся исключительно вокруг собственной оси спиралевидную туманность, расширяющуюся с каждым витком, который она описывает. Таким образом, усиление социального в ходе истории — это, очевидно, усиление «рационального» управления остатками и, вскоре, рост рационального *производства* остатков.

В 1544 году в Париже открывается первый крупный приют для бедных, который берёт на себя ответственность за бродяг, сумасшедших, других больных — всех тех, кто не был интегрирован в ту или иную группу и оказался вне её в качестве остатка. Это свидетельство рождения социального. Позднее появятся знаки его расширения: органы государственного призрения в девятнадцатом и система социального обеспечения в двадцатом веках. По мере быстрого упрочения социального остатком становятся целые общности, а стало быть, — на следующем витке спирали — и упрочившееся социальное. Когда остаток достигает масштабов общества в целом, мы получаем полную социализацию.[38] Полностью исключены и полностью взяты на иждивение, полностью разобщены и полностью социализированы абсолютно все.

В итоге символическая интеграция заменяется функциональной, и функциональные институции берут на себя ответственность за остатки символической дезинтеграции — социальная *инстанция* обнаруживается там, где для неё не было ни места, ни даже имени. По мере усиления такой дезинтеграции множатся, распространяются и развиваются «социальные отношения». Появляются социальные науки. Отсюда и любопытное выражение «ответственность общества перед своими обездоленными членами» — тот, кто к нему прибегает, исходит из представления, что «социальное» есть не что иное, как инстанция, выступающая следствием этой обездоленности.

Отсюда также и направленность рубрики «Общество» в *Монд* : материалы, помещаемые в ней, как это ни удивительно, посвящены только иммигрантам, преступникам, женщинам и т. д. — всему несоциализированному, «случаю» социального, сходному со случаем патологии. Речь идёт о зонах, которые должны быть втянуты в социальность, о сегментах, которые были выведены за её пределы в ходе её развёртывания. Обозначаемые социальным как *остаточные* , они подпадают тем самым под его юрисдикцию и рано или поздно обретут своё место в расширенной социальности. Именно к *остатку* приковано внимание социальной машины, и именно поглощение этого остатка даёт социальности энергию для нового расширения. Но что происходит, когда социализировано всё? Тогда машина останавливается, динамика всего процесса меняется на противоположную, и *в остаток превращается вся ставшая целостной социальная система* . По мере того, как социальное в своём прогрессировании поглощает все остатки, оно само оказывается остаточным. А помещая в раздел «Общество» материалы об остаточности, оно, к тому же, и *именует себя остатком* .

Однако чем становятся рациональность социального, контракт и социальное отношение, если последнее, вместо того чтобы выступать исходной структурой, заявляет о себе как об остатке и управлении остатками? Если социальное есть всего лишь остаток, оно

---

[38] Как только такой остаток заявляет о себе у гуайаки и тупи-гуарани, мессианские лидеры уводят его к атлантическому побережью. Их эсхатологические учения очищают группу от «социальных» остатков. Тем самым отодвигается не только политическая власть (о чём говорил Кластр [*Пьер Кластр* — французский антрополог, в 1960-х годах живший среди индейцев Парагвая и Венесуэлы; возглавлял кафедру религии и обществ южно-американских индейцев в École Pratique des Hautes Études. — Прим. перев.]), но и само социальное как дезинтегрированная/дезинтегрирующая инстанция.

уже не является местом процесса развития или позитивной истории, оно оказывается теперь только пространством нагромождений и расчётливого руководства, осуществляемого смертью. Оно больше не имеет смысла, поскольку смысл дан другому, а у социального не может быть шансов стать другим: оно представляет собой отбросы. У него нет никакой светлой перспективы, ибо остаток — это превзойдённое небытие, это то, что из праха уже не восстанет. И потому политика социального — это политика мертвеца. Социальному свойственно либо заточать, либо вытеснять. Сначала, выступая под знаком продуктивного разума, оно оказалось местом великого Заключения, теперь, когда его знаком стали симуляция и разубеждение, оно превратилось в пространство не менее великого Исключения. Впрочем, это, возможно, уже и не «социальное» пространство.

Именно в этом плане руководства остатками социальное и может в настоящее время обнаруживаться как таковое: в формах права, потребности, обслуживания, простой потребительной стоимости. И сегодня оно характеризуется уже не столько структурами конфликта и политики, сколько структурой приёма *[structure d'accueil]* . Над экономической сферой социального как потребительной стоимости надстраивается его экологическая сфера как *ниши* . Оно начинает играть роль одной из форм эквивалентного обмена индивида со средой, выступать в качестве экосистемы, гомеостаза, функциональной супербиологии человеческого рода. Это даже больше, чем структура, — это безликая питательная белковая субстанция. Оно образует некую зону безопасности, где можно укрыться от всех трудностей и обрести беззаботное существование (своего рода страхование с ответственностью за все риски взамен прежней жизни). Форма деградирующей социальности (снимающей напряжённость, предохраняющей, успокаивающей и снисходительной), форма предельно низкого уровня социальной энергетики (энергетики экологического функционирования), форма энтропии — именно в таком виде предстаёт перед нами социальное. Это уже другой облик смерти.

[экскурс]

социальное, или функциональная калькуляция остатка

Социальное занято тем, что устраняет всякий прирост богатства. Если бы дополнительное богатство было пущено в процесс перераспределения, это неизбежно разрушило бы социальный порядок и создало недопустимую ситуацию утопии.

То перемещение богатства, любого богатства, которое осуществлялось когда-то посредством жертвоприношения и которое не оставляет место аккумуляции остатка, для наших обществ также неприемлемо. Уже потому, что они «общества», а следовательно, всегда производят излишек, остаток (каким бы он ни был — демографическим, экономическим или лингвистическим), и потому, что этот остаток должен быть ликвидирован (ни в коем случае не принесён в жертву — это опасно: просто-напросто ликвидирован).

У социального две обязанности: производить остаток и тут же его уничтожать.

Если бы всё богатство приносилось в жертву, люди утратили бы чувство реальности. Если бы всё богатство оказывалось в их распоряжении, они перестали бы отличать полезное от бесполезного. *Социальное призвано следить за бесполезным потреблением остатка, с тем чтобы индивиды были готовы к полезной для них организации их жизни* .

Использование и потребительная стоимость конституируют некую фундаментальную мораль. Но она существует только в симуляции нищеты и расчёта. Если бы всё богатство было перераспределено, оно уничтожило бы собой потребительную стоимость (то же самое со смертью: если бы смерть была перераспределена, если бы она была *обращаема [reversée]* , уничтожению подверглась бы потребительная стоимость жизни). Сразу же и со всей очевидностью стало бы ясно, что потребительная стоимость есть всего лишь основанная на меркантильной приземлённости, предполагающая постоянный прагматический расчёт моральная конвенция. Но она держит нас в своей власти, и потому вынести эту *катастрофу* перемещения богатств и перемещения смерти мы, чьё сознание навсегда отравлено фантазмом потребительной стоимости, были бы не в состоянии. Нельзя, чтобы всё

обращалось. Необходим остаток. И социальное следит за тем, чтобы он был.

До сих пор автомобиль, дом и другие «полезные вещи» так или иначе, но всё же с успехом поглощали материальные и духовные запасы индивидов. Однако предположим, что теперь между индивидами распределили всё находящееся в распоряжении общества свободное богатство. Если бы это случилось, они бы в нём просто-напросто утонули. Они потеряли бы ориентацию и чувство умеренности и бережливости, утратили потребность просчитывать свои действия. Они столкнулись бы или с разбалансированными отношениями стоимости (внезапный приток валюты *[devises]* стремительно и до основания разрушил бы денежную систему), или же с патологическим развитием потребительной стоимости (каждый имел бы 3, 4 и т. д. автомобилей), которая в этом обществе изобилия, однако, неизбежно растворилась бы в гиперреальном функционализме.

Таково свойство любого излишка — перемещаемый без всяких ограничений, он разрушает систему эквивалентности, а заодно и систему нашей *духовной ориентации* на эквивалентность.[39]

Противостоять этому может только мудрость социального — стоящей на страже эквивалентного матрицы расширения и обращения богатств, среды их контролируемого расточения.

Общество, неспособное к тотальному перемещению богатства и ориентированное на потребительную стоимость, всегда опирается на своего рода ум и дальновидность института социальности и его абсурдную «объективную» расточительность. Действия, направленные на поддержание престижа страны, строительство «Конкордов», полёты на Луну, запуски баллистических ракет и спутников, даже организация общественных работ и социального обеспечения, безусловно, свидетельствуют о бессмысленных тратах. Но ум социального — это и есть глупость в пределах потребительной стоимости. Наивно не социальное — наивны разного рода социалисты и гуманисты, мечтающие о перераспределении всего богатства, исключении любых бесполезных расходов и т. п. Социалисты, борцы за потребительную стоимость, борцы за потребительную стоимость социального, демонстрируют, что социальность ими абсолютно не понята — они полагают, будто социальное может стать оптимальным коллективным управлением потребительной стоимостью людей и вещей.

Но оно никогда им не будет. Оно, вопреки надеждам социалистов, бессмысленно, неуправляемо, оно есть безответственно расходующий, разрушающий, огромный по своим размерам протуберанец оптимального управления. Однако именно *поэтому* оно и является функциональным, именно поэтому (что так и не усвоили идеалисты[40]) оно в точности соответствует своему предназначению, которое состоит в том, чтобы, осуществив

---

[39] Эту систему ориентации на эквивалентность не следует связывать с одной лишь политической экономией капитала. Вера в справедливость принципа баланса между трудом и заработной платой, заслугой и правом на доходы имеет место и за рамками буржуазной морали — как основание для самооценки и отстаивания своего «я». Если вы получили что-то без эквивалента с вашей стороны, это благо может обернуться для вас катастрофой. Сумасшествие Гёльдерлина порождено именно такого рода расточительностью богов, такого рода божественной милостью — она овладевает вами и становится смертельной как раз потому, что вы не можете её оплатить, не можете её компенсировать никаким находящимся в распоряжении человека эквивалентом: ни эквивалентом земли, ни эквивалентом труда. Здесь действует своего рода закон, который никак не учитывается буржуазной моралью. Приведём более простой пример: ужасная растерянность тех, на кого внезапно «сваливается» какое-то богатство и благополучие. К ним можно отнести посетителей большого магазина, получивших вдруг разрешение взять без оплаты всё, что они хотят: их охватывает паника. Или виноградарей, которым за уничтожение виноградников государство предлагает денег больше, чем они зарабатывали, когда их возделывали. Эта неожиданная надбавка подавляет их так, как не подавляла обычная эксплуатация их рабочей силы.

[40] Слово *идеалист* употреблено Ж. Бодрийяром в его «обычном» значении *человека, идеализирующего реальность*.

объективно неизбежный обходной манёвр, то есть используя расточительство, а contrario[41] укрепить потребительную стоимость и сохранить основание реальности. Социальное создаёт ту нехватку богатства, которар необходима для различения добра и зла, в которой нуждается любая мораль, — нехватку, абсолютно неизвестную «первым обществам изобилия», описанным Маршаллом Салинзом.[42] Это то, чего не видят социалисты: желая уничтожить недостаток благ и требуя всеобщего права пользования богатством, они тем самым устраняют социальность, хотя им кажется, что они настаивают на её развитии.

Вопрос о смерти социального в этом плане решается просто: социальное умирает в результате распространения потребительной стоимости, которое равнозначно её ликвидации. Когда всё, включая социальное, становится потребительной стоимостью, мир оказывается инертным, и в нём происходит нечто прямо противоположное тому, о чём мечтал Маркс. Он мечтал о поглощении экономического улучшенным социальным. Мы же имеем дело с поглощением социального ухудшенной политической экономией[43] — просто-напросто управлением.

Общество спасается именно *дурным использованием богатств* : со времён Мандевиля и его *Басни о пчёлах* всё осталось по-прежнему. И социализм тут не может ничего изменить. Политическая экономия была призвана устранить эту двойственность, эту далее нетерпимую для неё противоречивость социальной динамики. Но сложная функциональность социального, своего рода функциональность во второй степени, оказалась ей не по силам. И, тем не менее, эта экономия сегодня, кажется, торжествует: после того, как политическое исчезло, растворилось в социальном, само социальное начинает поглощаться экономическим — экономией даже ещё более политической, чем ей полагалось быть, лишённой “ubris”, излишества и излишка, которыми характеризовалась капиталистическая фаза.

[конец экскурса]

3. *Социальное, безусловно, существовало, но сейчас его больше нет* . Оно существовало как связное пространство, как основание реальности. Социальное отношение, производство социальных отношений, социальное как динамическая абстракция, место конфликтов и противоречий истории, социальное как структура и как ставка, как стратегия и как идеал — всё это имело смысл, всё это что-то значило. Социальное никогда не было ни ловушкой, как в случае с первой гипотезой, ни остатком — как в случае со второй. Но, вместе с тем, в качестве власти, в качестве труда, в качестве капитала оно имело смысл только в пространстве перспективы рационального размещения, в пространстве, ориентированном на некую идеальную точку схождения всех линий, которое является также и пространством производства. Оно, короче говоря, имело смысл исключительно в пределах симулякров второго порядка.[44] Сегодня оно поглощается симулякрами третьего порядка и потому умирает.

Перспективному пространству социального приходит конец. Рациональная социальность договора, социальность диалектическая (распространяющаяся на государство и

---

41 От противного (лат.).

42 Маршалл Салинз (род. 1930) — американский антрополог, преподает на кафедре антропологии Чикагского университета. Центральный труд — *Stone age economics* (рус. изд.: *Салинз М.* Экономика каменного века. М., 1999).

43 Термин *политическая экономия* (*economic politique*) у Ж. Бодрийяра многозначен: за ним может стоять и теория, и практика управления экономикой, и особое состояние экономического.

44 Подробно о трёх порядках симулякров см.: *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. С. 111–166. Здесь Ж. Бодрийяр, в частности, отмечает: «Симулякр первого порядка действует на основе естественного закона ценности, симулякр второго порядка — на основе рыночного закона стоимости, симулякр третьего порядка — на основе структурного закона ценности» (С. 113).

гражданское общество, публичное и частное, социальное и индивидуальное) уступает место социальности контакта, множества временных связей, в которые вступают миллионы молекулярных образований и частиц, удерживаемых вместе зоной неустойчивой гравитации и намагничиваемых и электризуемых пронизывающим их непрекращающимся движением. Но можно ли в данном случае по-прежнему говорить о *социуме?* В Лос-Анджелесе никакой социальности уже нет. И её тем более не будут знать следующие поколения (в Лос-Анджелесе пока что живёт поколение телевидения, кино, телефона и автомобиля) — поколения рассеивания, распределения индивидов как пунктов получения и передачи информации в пространстве даже ещё более размеренном, чем конвергентное: пространстве связи, соединения. Социальное существует только в пространстве перспективы — в пространстве симуляции, которое является также и пространством разубеждения, оно умирает.

Пространство симуляции — это место смешения реального и модели. Реальное и рациональное для того, кто находится внутри данной сферы, неразличимы ни практически, ни теоретически. Строго говоря, тут нет даже и вхождения моделей в реальность (это была бы ситуация замены территории картой, представленная Борхесом[45]) — есть мгновенное, осуществляющееся здесь и теперь преображение реального в модель. Происходит невероятное: реальное оказывается гиперреализованным — не реализованным, не идеализированным, а именно гиперреализованным. Гиперреализация означает его упразднение, но это упразднение не является грубой деструкцией. Оно выступает возведением реального в ранг модели. Модель упреждает, разубеждает, предусмотрительно преображает— и тем самым всегда поглощает реальность.

Догадаться об этой тонкой, быстрой и незаметной работе модели можно лишь тогда, когда реальное начинает заявлять о себе как о чём-то более истинном, чем истина, как о чём-то слишком реальном, чтобы быть истинным. Сегодня на производство такого рода реальности, такого рода сверхреальности ориентированы все mass media и информация (вспомним многообразные интервью, прямой эфир, кино, документальное телевидение и т. п.). Они производят её настолько много, что мы оказываемся окруженными непристойностью и порнографией. Наезд камеры на объект, по сути дела порносъёмка, делает для нас реальным то, что реальностью никогда не было, что всегда имело смысл только *на некотором расстоянии* . Гиперреальность — это разубеждение в возможности хоть какой-то реальности. Разубеждение, которое подавляет реальность тем, что заставляет её постоянно разрастаться, становиться гиперочевидной и, однако, навязывать себя снова и снова. Оно делает её предельно насыщенной и толкает к непристойности, оно упраздняет всякое различие между ней и её репрезентацией, оно, наконец, доводит ситуацию до имплозии полюсов, между которыми циркулирует энергия реального. Реального как системы координат больше нет, оно живёт жизнью модели.

Но тем самым гиперреальность устраняет и социальное. Социальное, если оно имеет место как симулякр второго порядка, в симулякрах третьего порядка производиться уже не может: подвергнутое усиленной, предельной, делающей его непристойным инсценировке, оно сразу же оказывается в невыносимом для себя положении. Признаки этой гиперреализации социального, свидетельства его чрезмерной интенсификации и предвестники завершения присутствуют повсюду: и тут и там подчёркивают, обозначают и используют прозрачность социального отношения. История социального никогда не приведёт к революции — она навсегда остановлена *знаками* социального и революции. Социальное никогда не подойдёт к социализму — оно наткнулось на непреодолимую для себя преграду в лице гиперсоциального, гиперреальности. социального (но, может быть, это и есть социализм?). Понятие пролетариата заменяется каким-то пародийным экстенсивным

---

[45] Борхес Хорхе Луис (1899–1986) — аргентинский писатель и критик. Бодрийяр имеет в виду рассказ Борхеса “Тлён, Укбар, Orbis tertius”.

дубликатом, «массой трудящихся» или просто ретроспективной симуляцией пролетариата, и пролетариату уже не суждено начать процесс «отрицания себя как такового». Политическая экономия уходит в гиперреальность экономики (характеризующуюся безмерным наращиванием производства, преобладанием производства спроса над производством товаров и бесконечной чередой кризисов) и потому уже не достигнет стадии своего диалектического преодоления, не обернётся возникновением системы удовлетворения всех потребностей и оптимальной организации дела (а мы так и не сможем оценить её достоинства и недостатки).

Отныне ничто не добирается до конца своей истории, ибо ничто не в состоянии избежать этого захвата симулякрами. И социальное умирает, так и не раскрыв нам полностью своей тайны.[46]

Пусть, однако, ностальгии по социальности предаются приверженцы удивительной по своей наивности социальной и социалистической мысли. Это они умудрились объявить универсальной и возвести в ранг идеала прозрачности столь неясную и противоречивую, более того, остаточную и воображаемую, и более того, упраздняемую своей собственной симуляцией «реальность», какой является социальное.

---

[46] Возможна ещё одна, четвёртая, версия социального: *имплозия социального в массах* . Основанная на триаде симуляция/разубеждение/имплозия, она дополняет третью гипотезу. Эта версия представлена в тексте *В тени молчаливого большинства* .